

Олег Николаевич Верещагин
Будьте бдительны! Сборник рассказов



http://zhurnal.lib.ru/w/wereshagin_o_n/

Аннотация

Смешно прозвучит то, что я сейчас скажу. Но я скажу! ЛЮДИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ОНИ уже окружают нас — заряжены пушки, прогреты моторы, расчерчены карты, подняты чужие флаги над наёмными легионами одураченных славянских парней и это — не моя выдумка, поймите! И последнее. Обращение к определённой категории читателей — немногочисленной, но активной... ПОЖАЛУЙСТА, не нужно снисходительно доводить до моего сознания то, что это никому не нужно, неинтересно, невозможно, смешно и нелепо. ЭТО НУЖНО МНЕ. А уж вам — самим решать.

О. Н. Верещагин
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Сборник рассказов

МЁРТВЫЙ ГОРОД

Сводка о потерях выглядела удручающе. Ромашов смотрел на лежащий перед ним лист

и, если честно, не мог понять, почему Воронеж ещё держится.

Буквы сводки вдруг затеяли странный танец. Ромашов потрянул головой и понял, что уснул сидя и с открытыми глазами. Он вздохнул и попытался понять наконец, о чём там говорится.

3-й сводный казачий полк — 11 убитых, 8 выбывших из строя, в строю — 272 чл.

5-й сводный казачий полк — 32 убитых, 17 выбывших из строя, в строю 112 чл.

2-й Донской казачий полк — 23 убитых, 5 выбывших из строя, в строю 201 чл.

17-й батальон ВДВ — 12 убитых, 14 выбывших из строя, в строю — 311 чл.

117-й мотопехотный полк — 14 убитых, 17 выбывших из строя, в строю — 422 чл.

Сводный бронедивизион — 22 убитых, 24 выбывших из строя, в строю — 125 чл.

Выведено из строя: 1 танк Т-72, 1 танк Т-80, 1 ЗСУ «Тунгуска», 2 БМП-2, 1 122-мм САУ «Гвоздика». Осталось: 7 танков Т-72, 5 ЗСУ «Тунгуска», 17 ЗСУ «Шилка», 7 БМП-2, 3 122-мм САУ «Гвоздика», 2 152-мм САУ «Акация».

Сводный артиллерийский полк — 5 убитых, 2 выбывших из строя, в строю — 202 чл.
сводный полк милиции — 27 убитых, 22 выбывших из строя, в строю — 345 чл.

Сводный полк МЧС — 20 убитых, 19 выбывших из строя, в строю — 302 чл.

4-я интернациональная рота — 12 убитых, 3 выбывших из строя, в строю — 73 чл.

9-я интернациональная рота — 20 убитых, 11 выбывших из строя, в строю — 90 чл.

4-я егерская дружина — 26 убитых, 20 выбывших из строя, в строю — 119 чл.

7-я егерская дружина — 27 убитых, 10 выбывших из строя, в строю — 132 чл.

8-я егерская дружина — 31 убитых, 19 выбывших из строя, в строю — 97 чл.

Именной Дроздовский полк — 52 убитых, 22 выбывших из строя, в строю — 524 чл.

Разведотряд «Солардь» — 2 убитых, выбывших из строя нет, в строю — 29 чл.

1-я дружина народного ополчения — 19 убитых, 3 выбывших из строя, в строю — 142 чл.

2-я дружина народного ополчения — 24 убитых, 4 выбывших из строя, в строю — 119 чл.

3-я дружина народного ополчения — 20 убитых, 7 выбывших из строя, в строю — 92 чл.

4-я дружина народного ополчения — 3 убитых, 7 выбывших из строя, в строю — 203 чл.

5-я дружина народного ополчения — 14 убитых, 3 выбывших из строя, в строю — 137 чл.

6-я дружина народного ополчения — 17 убитых, 11 выбывших из строя, в строю — 142 чл.

7-я дружина народного ополчения — 21 убитых, 2 выбывших из строя, в строю — 132 чл.

8-я дружина народного ополчения — 6 убитых, 15 выбывших из строя, в строю — 204 чл.

Сводный отряд лёгкой авиации — убитых и выбывших из строя нет, в строю 44 чл. и 21 параплан «Гриф».

«Господи, — ужаснулся Ромашов. За один день — 460 убитых, 255 выбывших из строя». И город — огромный, почти миллионный (до войны...) Воронеж, на одиннадцатый день боёв держат 4571 защитник. Ну — плюс восемь человек его штаба. С такими темпами потерь — на неделю, не больше. Хотя есть ещё его личный резерв. Непочатый, так сказать. Базирующийся в военно-авиационном училище, технологической академии, в его штабе — здесь, в спорткомплексе «Буран».

1-й Кубанский казачий полк — в строю 314 чл.

16-й батальон ВДВ — 1 убитый, в строю 450 чл.

3-я егерская дружина — в строю 322 чл.

Отдельная танковая рота — в строю 82 чл., 7 танков Т-80, 5 120-мм САУ «Вена», 2 203-мм САУ «Пион», 3 ЗСУ «Тунгуска».

1168 человек.

Но и это — капля в море в случае чего... Стоп, а что это за убитый у десантников? Их не бомбили, не обстреливали... Не иначе — кто-то не выдержал и застрелился...

...И всё-таки они держат город — против экспедиционного корпуса НАТО, насчитывающего не меньше 45 тысяч активных штыков при поддержке солидного количества танков, артиллерии и авиации.

Бывший генерал вдребезги разбитой за первые три дня войны российской армии Виктор Павлович Ромашов — руководитель обороны Воронежа — не мог понять, как, собственно, у них это получается? Да что там говорить — он не мог понять, как оказался в руководителях. Ему вспомнилось — заставленная сожжённой техникой его дивизии дорога на Белгород, огонь, сотни обугленных трупов, воронки... И он — сидящий на подножке штабного УАЗа с пистолетом в руке. Не понимающий, почему налетевшие «тандерболты» пожалели его — в насмешку, для издевательства, что ли? Раздумывающий, застрелиться сейчас или позже. А потом — какие-то люди в полувоенном, с нашивками на рукавах — большие чёрно-жёлто-белые угольники... Молодой парень в ярком берете, его слова: «Товарищ генерал, просим принять команду... Воронеж... опорный пункт... надежда остановить...»

Ромашов тряхнул головой.

Противник... Генерал-лейтенант придвинул разрозненную грудку рапортов, написанных от руки. Странно, повторяется ситуация Великой Отечественной. Линия обороны на левобережье по Острогжской, Краснознамённой, Кольцовской улицам, Московскому проспекту — до Семилук, где польские части сумели три дня назад прижать защитников к водохранилищу. А правобережье всё ещё полностью в руках защитников — враги застряли вдоль болот по берегам Усманки и в город не вошли; выброшенный восемь дней назад в район Вогрэсовского моста десант венгерских парашютистов наконец-то добит в Кировском доме культуры, где эти сволочи, надо сказать, очень храбро держали оборону все эти дни... Ликвидацией занимались донцы, 4-я интернациональная рота и 7-я дружина народного ополчения. Пленных, как почти всегда, нет. Были, конечно, были. Но...

Генерал-лейтенант выругался и покачал головой. Даже допросить некого! Он сердито задвигал бумагами.

Северный мост взорван. НАТОвская авиация его берегла-берегла, а теперь мы же сами и взорвали — слишком близко поляки. Командир Дроздовского полка пишет — в ЦПКиО — пять стычек с разведпатрулями прибалтийской бригады. Это у него в стычках столько убитых — больше полусотни? Романов представил себе замкнутого, лощёного и отчаянно храброго полковника Кологривова. Его бойцы на полковника чуть ли не молились. «В прошлой жизни» полковник был директором лицея. Но что делать, если профессиональные военные не смогли защитить страну — а он смог хотя бы собрать свой полк на пустом месте, вооружить, повести в бой и если не победить, то хоть не проиграть? Нет, разнос устраивать не будем...

Но какая солянка! Где они, эти американцы, с которыми мы воюем? Мы воюем с американцами, снова повторил про себя Ромашов и усмехнулся. Хрена... Прибалты, румыны, венгры, поляки, молдаване, хорваты, грузины, азербайджанцы, турки, украинцы (вот ужас-то где!!!). «Частные армии» из разных «агентств» со всего света. А американцы — в кабинах самолётов и «вертушек», где-то в тылах у орудий, в штабах... Он и не видел ни одного, кроме тех, из делегации, десять дней назад предлагавших ему сдать город «во избежание дальнейшего бессмысленного кровопролития».

А его собственные защитники? Это тоже смех... Остатки регулярной армии — десантники, его «личная» мотопехота, собранная на той ужасной дороге, где погибла дивизия, которую он вёл к Белгороду, подчиняясь последней полученной от начальства команде, танкисты, артиллеристы... Менты и «чрезвычайка», которых организовали какие-то оптимисты-офицеры. Казаки — местные «ролевики» и выбитые с юга донцы и кубанцы. «Интернационалисты» — курды, армяне, украинцы, белорусы, абхазы, сербы, поляки — до

двадцати национальностей, есть даже немцы из Германии и французы из Франции, есть даже бывший «настоящий» американский капитан!!! «ЧЗБ», «чёрно-золото-белые», бойцы самоорганизованного (Ромашов толком не понимал, кем и когда) Русского Национального Войска — дружинники, дроздовцы (кстати, почему дроздовцы — так и неясно),¹ разведчики отряда «Солардь»... Наконец — местные ополченцы, сбродно одетые, вооружённые всем подряд — от ППШ и охотничьих ружей до трофейных польских и венгерских «калашниковых» и М16, под командой самовыдвиженцев, выбранных голосованием...

Если бы недавно кто-то сказал ему — будешь, генерал, командовать такой «армией» — он бы расхохотался.

А вот листок: «Переходы на нашу сторону». С ума сойти, устало подумал Ромашов. Там есть чокнутые, с той стороны, которые переходят к нам. Но это факт, и факт отраднейший...

На окраине Подгорного — двое поляков, капрал и поручик. Сразу попросились в строй. В районе Новой Усмани, на дороге М4 — аж 17 украинцев-десантников, в том числе — три офицера. Сразу попросились в строй. Привели с собой скрученного польского майора-инструктора (ага, вот и пленный для допроса). На стадионе «Чайка» — пятеро украинцев из мотопехоты, один офицер. Сразу попросились в строй. На площади Черняховского — трое хорватов из спецназа. Сразу попросились в строй. Ого! Аж у дворца спорта «Кристалл» обнаружился невесть как туда пробравшийся швед (господи!!!) из подразделения «частной армии» «Блэкуотерс». Сказал по-русски: «Янки — гавно», пояснил жестами, что он сапёр и попросился непременно к казакам. Анекдот, честное слово. Как он казаков-то жестами изображал, вот бы узнать... Но приобретение хорошее.

Итого — + 28 бойцов. Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан.

Потери противника, как всегда, завышены. Если их считать, то окажется, что мы уже весь оккупационный корпус НАТО плюс миротворцев ООН под Воронежем положили. Всего по рапортам выходило не меньше трёх тысяч убитых, но Ромашов, наученный опытом, решительно поделил её на три. Порядка 800–1200 убитых НАТОвцев. Если учесть, сколько у них техники и какое снаряжение — отличный результат. К одному из рапортов было приложена распечатанная на цветном принтере фотка, сделанная цифровиком (у них там где-то ещё компьютер работает!) — Ромашов узнал воронежский цирк. Повсюду лежали убитые — навалом, местами кучами. На рукавах камуфляжей генерал-лейтенант различил хорватские клетчатые нашивки. Несколько ополченцев собирали оружие. На глаз убитых было не меньше сотни. Да-а, это уже документальное подтверждение.

Хорваты, подумал генерал-лейтенант. Славяне. Славяне... Славяне... Он взгляделся в лицо молодого парнишки, лежащего на клумбе — боком, из живота через вспоротый французский жилет и немецкий камуфляж вывалились внутренности, ноги были полуоторваны у бёдер. На лице застыли ужас и боль, и Ромашов отбросил фотку к документам.

Техника. Сбит «Блэк хок», сбит «Тандерболт»... Парапланщики сожгли два «Абрамса» и «Паладин»... Генерал-лейтенант из всех сил пытался заставить себя осознавать информацию, но понял, что не сможет. Четвёртую ночь без сна — не сможет никак.

В городе всё ещё осталось около двухсот тысяч гражданского населения, в основном — женщины, дети, старики. Не работает канализация, водопровод, мало продуктов. Можно было бы мобилизовать многочисленных оставшихся мужчин. Но где взять оружие?

По гражданским статистики нет. А ведь они гибнут каждый день — сотнями, наверное.

¹ ДРОЗДОВСКИЙ Михаил Гордеевич (1881–1919), российский генерал-майор (1918). В декабре 1917 сформировал на Румынском фронте отряд, с которым прошёл из Ясс через Украину к Ростову-на-Дону на соединение с Добровольческой армией; в ее составе командовал пехотной дивизией, получившей после его смерти название «дроздовской». В описанном мною варианте будущего элитные части добровольческого Русского Национального Войска носят те же названия, что и «именные» части Белой армии — каппелевцы, дроздовцы, марковцы и т. д. — и даже береты тех же цветов, какие имели полковые фуражки белых частей.

Вчера — Ромашов сморщился — он видел, как две девочки — лет по 9-10 — хоронили на клумбе — на пляже за Чернавским мостом — мёртвую женщину. Выкопали мелкую ямку — и... Ромашов вспомнил, как одна из девочек посмотрела на него, вышедшего из машины. Пустыми, спокойными глазами. И вернулась к — кому? Сестре, подруге? Кого они хоронили? Сестру, мать?

Господи... Что же с этим-то делать? Он не знал. Он мог защищать город, потому что это было его делом. Его профессией. Но как помочь его жителям — тем, кто не носил оружие — он не знал.

В засыпающем, измученном мозгу генерал-лейтенанта промелькнуло ещё — а вроде бы кто-то... да, командир 7-й егерской, которая обороняется в районе гостиницы «Анта»... чэзэбэшник... как его фамилия? Известная, как того таможенника в «Белом солнце пустыни» звали... а, Верещагин! Этот Верещагин вроде бы подавал докладную сегодня — что-то насчёт гражданских...

Но сил у Ромашова больше не было. Когда через три минуты мальчишка-вестовой принёс сводки радиоперехвата, генерал-лейтенант спал за столом — щекой на бумагах.

* * *

— Надсотник... надсотник... Олег Николаевич, проснитесь... просыпайтесь же...

Спящий на продавленной раскладушке в углу комнаты человек что-то пробормотал сквозь зубы и сел — с ожесточённым лицом. Отсветы керосиновой лампы, которую держал в руке невысокий белобрысый парнишка, склонившийся к раскладушке, сделали это лицо похожим на древнегреческую маску; коротко подстриженные волосы блестели сединой.

— Олег Николаевич, — парнишка с лампой выпрямился. — Вы приказали разбудить, когда вернётся разведка. И соберутся командиры сотен.

— Все живы? — на плечах камуфляжа рывком поднявшегося человека вздыбились мягкие чёрные погоны с продольной алой полосой и восьмиконечной звёздочкой — знаками различия надсотника РНВ. Под левый погон был заткнут чёрный берет. Надсотник Верещагин вжикнул молнией «Тарзана», щёлкнул ремнём, на котором выделялась большая кобура старого «Маузера» и, забросив на плечо АК-103 с приложенным подствольником ГП-30, коротко сказал своему вестовому: — Пошли.

— Все живы, — ответил тот уже на ходу.

Надсотник кивнул.

Двери в комнатке, где он спал — бывшей щитовой гостиницы — давно не было. В довольно широком подземном коридоре в нескольких местах прямо на полу горели костры, сидели и лежали вооружённые люди, слышался негромкий разговор и даже песня:

— Берега, берега...

Берег этот и тот...

Между ними река нашей жизни...

Песня была из прошлой жизни, кончившейся всего три недели назад, но казавшейся чем-то древним, как история первобытного общества.

Надсотник на ходу кому-то кивал, кому-то улыбался, кому-то бросал пару слов. Он делал это не для игры и не по обязанности. Просто... а что — «просто», он бы не взялся объяснить даже за полный цинк патронов. Но, вглядываясь в лица дружинников, он ощущал одно чувство — единство с ними. И с теми ста с небольшим, что ещё оставались в строю. И с теми шестью десятками, которые сейчас лежали в госпитале на Правобережье, на Ростовской. И с теми полутора сотнями, которых больше не было... но странным образом они были. Были здесь. С живыми.

Большинство дружинников — молодые крепкие мужики по 25–35 лет. Но мелькали лица 18-20-летних, тех, кому уже перевалило за сорок (и даже сильно), а иногда —

мальчишеские физиономии 15-16-летних. Это всё были его бойцы. Не убавить, не прибавить.

— Прибавить я бы не отказался, — пробормотал он, поворачивая на лестницу.

— Что? — спросил вестовой.

— Ничего, Паш, это я так, — мягко ответил надсотник. Помедлил и спросил: — Паш... Ты не жалеешь, что увязался со мной?

— Нет, — коротко ответил вестовой.

Наземные полуразрушенные этажи гостиницы в предутренний час караулили только пулемётчики и снайперы, лежавшие неподвижно в своих гнёздах — там, где отсвет многочисленных пожаров надёжно ослеплял вражеские приборы ночного видения. «Батяка», немало сделавший для формирования РНВ, не поскупился — войско было хорошо вооружено. В дружине были три 82-мм миномёта, 12 «Утёсов», столько же АГС-30. Правда — это было в начале боёв. Сейчас миномёт оставался один, «Утёсов» — десять (хотя враги за ними охотились специально и упорно — их пули поджигали даже БМП), гранатомётов — семь. И ко всему этому — всё меньше и меньше боеприпасов. Правда, в сотне были теперь ещё трофейные «Браунинг» и Мк-19.

Около одного из снайперов Верещагин присел — в стороне от пролома, который миновал, привычно пригнувшись. Снаружи пахло гарью, тленом, взрывчаткой.

— Что там? — спросил он. Снайпер был одним из тех, кто просматривал Елецкую дорогу. Оттуда могли придти поляки — если части, держащие оборону вдоль водохранилища, не выдержат натиска.

— Тихо, — буркнул, не двигаясь, боец.

Компьютерный центр гостиницы уцелел чудом. Уцелел даже автономный генератор, но машины уже давно никто не запускал, а генератор переключили на фельшпункт в подвале, чтобы хотя бы там можно было дать нормальное освещение. На стульях-вертушках сидели трое офицеров, командиры сотен — сотник Земцов, подсотник Басаргин и сменивший недавно убитого командира второй сотни Демидова надурядник Климов, командир разведчиков. На сухом горячем кипел котелок с чаем, лежали рассыпанные галеты.

Поприветствовав командира кивками и взмахами рук, офицеры дождались, пока он усядется на один из стульев, вытянув ноги. Земцов передал Верещагину никелированную кружку с чаем.

— Я слушаю, — буркнул надсотник.

— В общем, так, — невысокий, широкоплечий, бритый наголо Климов был, как всегда в мирной обстановке, нетороплив. — В районе ксюшкиной церкви — никого. На Бульваре Победы, на Жукова — пусто. Отошли. А вот на Невского стоят «паладины». Двенадцать штук... — он засмеялся, как будто говорил что-то весёлое. — С самоходками штатовские морпехи. Настоящие. Улица 60-й армии забита поляками. Штурмовые группы в полной готовности.

— Так, — сказал Земцов — тоже невысокий и крепкий, но белобрысый, с густой короткой бородой и длинными усами. — Вот и подарок.

— Пашка, — Верещагин повернулся к вестовому. — Садись на скутер. Дуй в «Буран». Ромашову скажи — с рассветом нас атакуют. Пусть подкинет огонька по Невского, по 60-й армии... если прийдёт хотя бы одну «Шилку» — будет великолепно.

— Не прийдёт, — сказал высокий, кавалергардски изящный, чисто выбритый Басаргин. — Скажет — одна уже есть.

— Дуй и проси, что я сказал, — повысил голос Верещагин, и вестовой выбежал в коридор.

Офицеры какое-то время молча пили чай, слушая, как где-то на юге то разгорается, то затихает бой.

— Опять на Вогрэсовский мост ломятся, — сказал Земцов. Поставил пустую кружку, с сожалением вздохнул. — Ладно, пойду к своим.

— Угу, — кивнул Верещагин. — Клим, иди тоже, поспи.

— И то дело, — согласился надурядник, ловко закидывая за спину «Сайгу» 12-го

калибра, а АКМС со сложенным прикладом беря в руку.

Басаргин, облокотясь на компьютерный столик, играл златоустовским «Бекасом» — нож порхал над пальцами, крутился между ними... Верещагин долго и бездумно следил за движением ножа. На юге стали бить орудия.

— «Спруты», 125-миллиметровки, — сказал Басаргин, с размаху убирая нож в ножны. — Отобьются... Хорошо, что склады тут Вовочка с Медведем не успели ликвидировать.

— Хорошо, — согласился надсотник. — Слушай, Басс... а ты не чувствуешь себя мерзавцем?

— Чувствую, — сердито ответил подсотник. — Чувствую за то, что ничего не сделал, чтобы прекратить этот бардак года три назад.

— Я не об этом...

— Я знаю, о чём ты. Самоед ты, Олег.

— Самоед? — усмехнулся командир дружины.

— Самоед. Ты же этой войны хотел. Ты вообще её последним шансом называл!

— Называл?

— Перестань за мной повторять! — разозлился Басаргин и встал. Шевровые сапоги, которые он носил вместо берцев, как у большинства дружинников, скрипнули зло. — Я отлично знаю, что ты сейчас будешь делать! Вместо того, чтобы пойти и поспать ещё пару часов, ты сейчас пойдёшь шататься по окрестным подвалам! Тешить свою мятущуюся душу! И кончится тем, что тебя грохнет какой-нибудь морпех-снайпер! Чего ты смеёшься?! — у Верещагина и правда вздрагивала губа, а в глазах зажглись весёлые искорки. — Чего ты смеёшься, долдон?!

— Мятущуюся душу — это хорошо, — сказал надсотник и захохотал в голос.

Секунду казалось, что Басаргин сейчас бросится на него. Но вдруг тот махнул рукой и засмеялся тоже.

— Ты всегда был кретином, — заключил он. — Ну ладно. Я пойду тоже.

Выходя, он задержался, крепко хлопнул командира по плечу и сказал:

— Мы их сделаем. В конце концов мы их сделаем, и не важно, что будет с тобой и со мной.

* * *

В одном Игорь Басаргин ошибался.

Верещагин не собирался тешить мятущуюся душу. Он и сам не знал, почему снова и снова с таким упорством обходит подвалы окрестных домов, в которых жили — существовали, вымирали — тысячи «гражданских», как называл их генерал-лейтенант Ромашов.

В такие минуты надсотник чувствовал себя бесконечно усталым и тяжело виноватым.

Басаргин был прав. Он — Верещагин — хотел войны. Хотел, потому что верил тогда и продолжал верить сейчас, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но эти люди... Когда он появлялся среди них, то приходили усталость и вина. Ведь у всех у них до войны была жизнь. И дело не в том, жили они в блочных домах или в элитных особняках, ели на обед пиццу или ресторанные изыски. Просто — была жизнь, устоявшаяся, понятная, со школами для детей, медицинскими полисами, телевизором, какими-то радостями и достижениями, какими-то мечтами и желаниями.

Он презирал эти мечты и желания, презирал эти радости и достижения, потому что совершенно точно знал — это всё хлев. Хлев, хлев, хлев... Но эти-то люди были довольны такой жизнью! И сейчас, встречаясь с ними взглядами, он не мог отделаться от мысли, что они проклинают его, отнявшего всё это. Ведь и телевизор, и полисы, и школы — всё это осталось бы и в подмандатных зонах, и в лимитрофных государствах, на которые собирались поделить Россию ООН и НАТО. А такие, как он — не очень-то и многочисленные! — встали

на дыбы. И вместо мирного раздела, мирной оккупации — то, что есть сейчас...

Нет, думал он, пробираясь развалинами. Это не Великая Отечественная, не получилось Великой Отечественной. Большинство просто боится и прячется в подвалах, покорно умирая. Боятся тех, кто бомбит и обстреливает. И его боятся тоже — потому что он, не такой сильный, как оккупанты, всё-таки ближе, чем они и тоже может выстрелить. Нет народа-великана. Есть процентов десять фанатиков, которым повезло неплохо вооружиться и художественно самоорганизоваться. И есть остальные. Покорно ждущие, кто победит. И даже не понимающие, из-за чего началась война.

Но что он может поделать с собой, если ему их жалко?!

Лазить по развалинам в самом деле было опасно. Но надсотник почему-то был уверен, что его не убьют в эти моменты. Вот именно в эти — не убьют.

В воронке от «томагавка» лежали трупы поляков. Много, не меньше шестидесяти. Их туда стащили после вчерашнего боя. Около ямы порывивали и урчали несколько собак. И сустились среди трупов крысы. Крыс и собак пока ещё не едят (по крайней мере — явно). Пока ещё есть какие-то запасы, а у кого нет — можно добыть. Просто трудно представить, как начинён едой современный город. Главное достижение цивилизации...

Изощённый инстинкт вдруг засигналил — опасно!!! Верещагин быстрым и одновременно плавным движением присел — и слился с развалинами. И через пару секунд уловил приближение двух человек — они тоже пробирались по развалинам с запада.

В правой руке надсотника появился длинный прямой нож. Зачем шуметь? Мы не будем шуметь. Если это вражеские разведчики и их всего двое — одного порежем, а другого... ну что ж, будет язык. Как получится, в общем.

Но уже через полминуты надсотник расслабился. Около ямы появились двое мальчишек. Лет по 13–14, высокие, худые, одетые в потрёпанное барахло, бывшее когда-то модным. Модное — из тех времён, когда это слово имело смысл. Из прошлого времени, из древности — о боги! — месячной давности! Когда эти мальчишки ходили в школу, гоняли игрушки на компах... что ещё они делали? Да много что они делали и не думали, не могли подумать, что...

У мальчишек были рюкзаки — обычные школьные рюкзаки, тяжёлые, судя по всему. Они опустили их на землю, встали, широко расставив ноги, на краю ямы, начали сосредоточенно мочиться. Один что-то сказал, второй хихикнул. И в тот момент, когда они застегивались, Верещагин встал.

Мальчишки шарахнулись. Но тут же обмякли — узнали командира дружинников. Один из них — пониже ростом, светленький — даже вежливо сказал:

— Здравствуйте...

— И вам того же, — кивнул Верещагин, подходя. Мальчишки смотрели на него, а он не мог вспомнить, видел их раньше или нет. И, чтобы они не уходили (страшно не хотелось этого!), спросил, кивая на рюкзаки: — Что там?

— Консервы, еда вообще, — сказал светленький.

— Откуда? — поинтересовался надсотник. Второй мальчишка мотнул головой неопределённо:

— Да... вон там, в магазине... там ещё много...

— На той стороне? — спросил Верещагин. Мальчишки уставились под ноги. — Убьют же.

— Не, мы местные, мы тут всё хорошо знаем, — ответил светленький беспечно. Помедлил, нагнулся, достал из рюкзака блок «Marlboro». — Вот, возьмите...

— Димон... — зашипел его приятель. Надсотник улыбнулся:

— Спасибо, я не курю...

— Ну, отдадите кому-нибудь, — настаивал мальчишка.

Верещагин помедлил. И — взял блок.

— Отдам, — пообещал он мальчишкам.



ПИОНЕРЫ

— Чего ты ему отдал? — недовольно спросил Влад, ныряя в обрушенный коридор. — А наши чего курить будут?

— Не ной, там ещё есть, — Димка Медведев на ходу содрал обёртку с шоколадки. — Всем хватит... Значит, половину хавчика отдаём мелким и женщинам. Остальное делим, как всегда?

— Угу... погоди, — Влад достал сигарету, зачиркал спичками, с наслаждением закурил. — Пхххх... Хоть отождёмся. Знаешь, я думал — всё отберёт.

— Кто? — не понял Димка, жуя.

— Кто-кто... Этот. Дружинник.

— Да ладно тебе... Много они у нас отбирали?

— Я бы хрен отдал, — Влад продемонстрировал «Браунинг». — Смотри. Там подобрал. И патрон набрал.

— Можно бы и ещё притащить... — задумчиво сказал Димка. Глотнул шоколад.

— Да у всех уже есть почти, зачем ещё-то? — не понял Влад.

— Да так, — неопределённо ответил Димка, бросая скомканную обёртку в темноту. — Так просто. Потасили.

* * *

Димка проснулся от того, что его вызвали к доске на физике. Он не знал темы и открыл глаза почти с облегчением.

В школьном подвале было темно. Но не совсем. И тихо. Но не совсем. Тут никогда ничего не бывало «совсем». Обязательно горел какой-то костерок, обязательно хныкал кто-то из младших или кто-то где-то разговаривал. Обязательно доносились снаружи выстрелы, взрывы... Правда, сейчас наверху было почти тихо. Но Димка уже хорошо знал, что это означает лишь одно: скоро атака на это участке.

Мальчишки — почти все здешние, знавшие друг друга ещё по школе — спали в своём

углу на набросанных одеялах. Димка сел. Огляделся.

Мама — совсем недалеко, за ящиками, на которых горела керосиновая лампа — чинила его куртку. И плакала. Она плакала каждый раз, когда подходила его очередь идти за продуктами. И потом, когда он возвращался.

Димка почувствовал, как к глазам откуда-то изнутри тоже подступили слёзы. Сердито шмыгнул носом. Дурацкий характер, девчоночий характер.

Хорошо, что мама жива. Если честно, он до сих пор не мог толком осознать, что большинство его одноклассников — и вообще ребят из школы — потеряли родителей. Да и от самих ребят и девчонок осталась едва пятая часть. Мама часто жаловалась, что они не среагировали вовремя, не выбрались из города. А Димка иногда думал — что бы они стали делать там? Тут — тут ему давно не было страшно. И даже как-то привычно.

Мать перестала шить, о чём-то зашептала с молодой женщиной, укачивающей на руках ребёнка. Женщину Димка не знал. Она была нездешняя, а в подвале собралось человек двести, не меньше. Самых разных людей. Отовсюду.

Спать уже не хотелось. Наверху наступало утро. Димка вспомнил, как позавчера пролез через обрушившуюся на первом этаже стену в комнату, которая, сколько он себя помнил, всегда была заперта на висячий замок. В школе о содержимом комнаты ходили легенды. Самые разные. А на самом деле это оказался просто склад. Димка сперва даже разочаровался. На столах и шкафах лежали и стояли какие-то коробки, серые от пыли. Барабаны, горны с красными вымпелами. Лежали — стопками и россыпью — книги, журналы, брошюры. Присмотревшись, мальчишка понял, что попал в комнату, где в начале 90-х — когда его ещё и на свете не было — сложили предметы, имевшие отношение к пионерской организации. Почему-то не выкинули, то ли пожалели, то ли побоялись... О пионерах Димка почти ничего не знал, но при виде книг вспомнил вдруг, что любил читать. Дома была хорошая библиотека. Пока он был — дом.

Он порылся в книгах. С удовольствием, откладывая то одну, то другую. Потом его позвал Влад, он заторопился, схватил первую попавшуюся книгу и в подвале сунул её под подушку. Потом они пошли за продуктами...

Мальчишка сунул руку под подушку. Книга была толстой, старой, растрёпанной, в невзрачной коричневатой обложке. Димка присмотрелся — отсветов лампы хватило, чтобы понять: на обложке нарисован красный галстук и написано большими буквами: «О ВАС, РЕБЯТА!» Авторы — какие-то Власов и Млодик.

Сперва он хотел подсесть к ящикам, но мама наверняка начала бы жалеть его, говорить, а Димке сейчас не хотелось этого. Наклонившись так, чтобы было удобнее (сосед — Пашка Бессонов — пробормотал: «Ты чего толкаешься...»), он открыл первую страницу.

Если бы кто-то последил за читающим мальчишкой со стороны, то, наверное, удивился бы. Во-первых, Димка читал быстро. А во вторых — его лицо в это время отражало все чувства. Он то хмурил брови непонимающе, то сочувственно. То шевелили губами. То улыбался. То пожимал плечом. Через какое-то время отложил книгу (прочитанную уже на треть), потёр глаза и, решительно поднявшись, подошёл к матери, обойдя по дороге несколько 30-литровых канистр с бензином.

— Ты не спишь? — женщина улыбнулась, поцеловала наклонившегося к ней сына. — Добытчик... А я тебе куртку зашила.

Сейчас у неё было хорошее настроение. Это было ужасно и противоестественно, но — хорошее. Её мальчик вернулся, снова идти его очередь настанет не скоро, наверху не стреляют...

— Ма, — вдруг спросил Димка. — Ты были пионеркой?

Она не успела ответить на этот странный вопрос.

Наверху разорвался первый 6,2-дюймовый снаряд «Паладина».

* * *

С железным визгом брошенная снаружи граната отлетела обратно, спружинив о прислоненную к оконному проёму кроватьную сетку. Хлопнул взрыв.

— Утритесь, долбо...бы! — с хохотом крикнул пулемётчик и снова прилип к прорезному прикладу ПКМ.

Штурмовые группы упрямо пробирались по развалинам всё ближе и ближе к полуразрушенной школе, где сотня Басаргина — меньше четырёх десятков человек — держала оборону уже полчаса. Казавшиеся громоздкими, но быстрые фигуры в глубоких касках, жилетах с высокими воротами и с почти родными «калашами» в руках мелькали то тут, то там. По оконным проёмам и дырам в стенах били «браунинги» и несколько ракетных комплексов, снаряженных боеприпасами объёмного взрыва, попадания которых разваливали целые комнаты. Если бы дружинники не меняли места, то от защитников давным-давно никого не осталось бы...

Басаргин дал в окно короткую очередь, быстро перекатился кувырком к следующему. Видно было, как поляки застряли на установленных метрах в двадцати от дома ПОМЗах и МОНах, соединённых между собой растяжками. Тут и там хлопнули несколько взрывов. Сапёры штурмовиков в лихорадочном темпе снимали растяжки в то время, как их товарищи вели шквальный огонь по дому, наверное, проклиная тех, кто додумался начать атаку без артиллерийского или воздушного обстрела — в надежде на «фактор внезапности». Сейчас этот фактор оборачивался тем, что то тут, то там штурмовик тыкался бронестеклом американского шлема в щебень, в пыль, в асфальт. Дружинники давно не пользовались калибром 5,45 — «батька» озаботился добычей «стволов» под проверенный 7,62 — не такие скоростные, но более тяжёлые пули пробивали навывлет и снаряжение, и кевлар жилетов, и керамические вкладыши — и, пройдя почти насквозь, ударяли в жилет на спине изнутри, рикошетировали, делали в теле человека ещё два-три «броска», превращая почти любое ранение в смертельное.

Но Басаргин видел намётанным глазом — поляки не повернут. Слева от подсотника упал гранатомётчик — парню снесло голову пулей «браунинга». Басаргин подхватил ГМ-94, забросив автомат за спину. Опять выглянул. Прорвались, прогрызлись... Тут и там штурмовики бежали к школе, низко пригнувшись и строча на ходу. А следом из улицы...

— Мать! — вырвалось у Басаргина.

Это были «Паладины» — те, о которых говорил Климов на утреннем совещании. Огромные, выкрашенные в чёрный цвет 155-миллиметровые самоходки. Каждую впереди сопровождала «Брэдли». А по флангам каждой бронепары мелькали пятнистые фигуры — похожие на поляков, но чем-то отличные... морпехи!

— Очистить нижний этаж! — заорал Басаргин командиру первой полусотни надуряднику Прохорову. — Всем вверх, держать лестницы!

— Есть, понял! — Прохоров метнулся по коридору — и в тот же момент первый снаряд «Паладина» ударил прямым в школу.

— Твою ж... — зарычал подсотник. Теперь он не мог командовать, не имело смысла — теперь он мог только драться, как простой боец. Бросившись к окну, он выхватил из кармана отшлифованную металлическую пластинку, поймал солнечный луч, пустил в ход ладонь, закрывая-открывая импровизированный гелиограф в сторону гостиницы: «Пшеки на нижнем этаже. Их поддерживают три «Паладина», столько же «Брэдли», до взвода морпехов США. Держу верхние этажи».

Напряжённо вглядываясь, он увидел ответ буквально через пару секунд: «Не дайте подойти бронетехнике. Отрежьте её от пехоты, заставьте остановиться. Пехоту заманивайте на первый этаж всю».

— Мать! — повторил Басаргин. И заорал, перекрывая рёв и грохот: — Гранатомётчики, ко мне!

Предвидя что-то такое, он держал гранатомётчиков с «Громами» в резерве. По штату в сотне была дюжина РПГ и до чёрта одноразовых «Мух». Но оставалось всего четыре расчёта, поэтому Басаргин заранее раздал по две «Мухи» пятерым лучшим стрелкам.

Собрав отряд вокруг себя, подсотник, сидя под стеной, ткнул в пол:

— Слышите?! Поляки внизу! Прорвёмся через чёрный ход и подожжем броню, иначе они под её крышей похоронят всю оборону! Всем всё ясно? — он обвёл лица бойцов взглядом. — За мной! За Русь, мужики!

Это не было просто словами или голым лозунгом. Не сейчас и не здесь...

...Они вбежали в глухой коридор как раз когда двое здоровенных капралов с белыми орлами на рукавах приканчивали выстрелами в упор последнего из двоих прикрывавших это направление дружинников. В два окна лезли ещё жолнеры. Басаргин заорал: «Твою так, бей их!» — выстрелил из гранатомёта, уныло взвизгнула картечь, один из капралов охнул, осел. Тяжело чокая о бетон, полетели ручные гранаты, взрываясь оранжевыми вспышками. Вскочивший на подоконник гранатомётчик-дружинник мешком упал наружу, следом тоже полетели гранаты. Оглушённый, озверевший, подсотник выскочил наружу, упал прямо на корчащегося поляка, изуродованного гранатным взрывом, не удержался на ногах, получил удар прикладом в голову, от которого закрылся рукой — локоть хрустнул, жолнер замахнулся снова... Басаргин пнул его (ххэк) ногой в пах, закрытый бронефартуком, поляк зарычал, сгибаясь, и соскочивший следом Жорка Малышкин несколько раз ткнул его сверху в шею, за воротник, штык-ножом. Плюясь кровью, жолнер обернулся, навалился на гранатомётчика, свалил. Двое поляков убегали по развалинам куда-то в сторону, один отбивался автоматом от дружинников. Генька-цыган, сидя на груди лежащего офицера, рубил его по лицу и по рукам, которыми он заслонялся, сапёркой — летели брызги. Двое дружинников, закинув гранатомёты за спину, стреляли в бегущих очередями, но промахивались, и те так и канули куда-то в развалины.

— Всё?! — прохрипел Басаргин, поднимаясь — рука не слушалась. — Сколько?!

Убит был только один — Макс Сиварёв, тот, который не вовремя вскочил на подоконник. Убитых поляков считать было некогда, своих раненых — тоже; все держались на ногах.

— За мной! — подсотник сам не понимал, почему из горла лезет один хрип, что случилось с голосом. — Ползком, вперёд!..

...«Паладины» не спешили приближаться. Раскачиваясь на гусеницах, они расстреливали гостиницу, стреляя мимо школы. Острые хоботки скорострелок «Брэдли» тоже дёргались очередями.

Басаргин знал по опыту, что артиллерийский обстрел не так страшен, как может показаться. До тех пор, пока здание держится. Но, как только будет нарушена конструкция, оно просто сложится, как карточный домик. Сейчас у «Паладинов» позиция была неудобной. Но, как только школа падёт, они обойдут её, не опасаясь быть сожжёнными сверху, выйдут на прямую наводку и расстреляют гостиницу за полчаса. А скорострелки БМП и стволы морпехов не дадут подойти близко контратакующим. Шанс был только сейчас — в относительной узости, пока янки не подозревают, что враг рядом, что враг подобрался...

— Всё, мужики, — захрипел надсотник. — Или сожжём их на хер — или сами тут ляжем. Пошли.

Пластаясь между развалин по щебню, они поползли — впереди с «Мухами», следом — расчёты «Громов». Рука Басаргина не работала, он оставил гранатомёт, намотал ремень «калаша» на локоть целой, чтобы стрелять с одной.

Двое дружинников буквально свалились на расчёт М60, устроившийся в воронке — янки прозевали. В воронке началась азартная короткая возня. Когда подполз Басаргин, оба морпеха лежали около пулемёта, изрезанные ножами до неузнаваемости, а его ребята уже подбирались к первой БМП. Задние дверцы были открыты, сидевший там огромный негр что-то кричал в микрофон закреплённой на стене радиации. При виде русских он выкатил глаза и выдохнул хрестоматийное:

— Ш-шит...

— Ху! — подскочивший ближе дружинник впечатал приклад в лоб под каску. Изнутри, из БМП, что-то спросили. — Не понимаю я по вашему, б...я, плохо учился, — сообщил

дружинник, бросая внутрь «лимонку» и откатываясь в сторону. Рвануло, подскочили выбитые люки...

— Ай-иии!

— Гранатомёты, огонь! — прохрипел Басаргин, падая за гусеницу уничтоженной машины. — Огонь, огонь, мужики!

И сам начал стрелять — неприцельно, веером, просто в пятнистые спины, выпяченные рёбрами бронежилетов — совсем близко, возле других машин...

...Димка не знал, от чего глохнуть — от рёва снаружи или от криков в подвале. Люди, казалось, обезумели от страха. Такого не было ещё ни разу. Прямо напротив входа остановилась огромная чёрная машина — «Паладин». Качаясь на гусеницах, она редко стреляла — после каждого выстрела на щебень со звоном летела здоровенная дымящаяся гильза, а в подвале поднималась новая волна крика. Кричали женщины, кричали дети, кричали немногочисленные мужчины... Тогда один из двух спустившихся в подвал и залёгших у входа солдат поворачивал ожесточённое, грязное лицо и тоже что-то кричал, тыча в сторону людей стволом винтовки — непонятно, ожесточённо... Эти двое лежали совсем близко от прижавшихся к стене мальчишек. А отползти было страшно — казалось, что, стоит пошевелиться, как американцы начнут стрелять в людей. Умом Димка понимал, что это не так, что они просто прикрывают самоходку. Но ничего с собой не мог поделать и сидел, как прикованный.



Что тут сказать?

— Мальчик... — услышал Димка шёпот и повернулся. Но позвали не его, а замершего рядом Влада — звал подошедший вдоль стены лысый старик, Димка не знал, кто это такой и как его зовут. — Мальчик... — старик нагнулся. — Я видел, у тебя пистолет. Дай, пожалуйста.

Помертвев, Димка видел — как в жутком, кошмарном, тягучем сне — руку Влада. Он подал «браунинг» старику. Довершая абсурд, старик сказал:

— Спасибо, — снял оружие с предохранителя, неожиданно легко и быстро сделал оставшиеся пять шагов и в упор выстрелил в затылок одного из американцев — под каску. Из лба у того ударило алое, он ткнулся в порог и задёргался. Старик выстрелил во второго — точно так же... но тот успел перевернуться на спину и получил пулю в лоб, сам судорожно нажав на спуск M16.

Лысого старика — он так и не выпустил пистолет — отшвырнуло прямо к истошно заоравшим мальчишкам, буквально вмазавшимся в стену подвала.

Старик привстал на затылке и каблуках. Стиснул грудь, сказал:

— Х..., — и обмяк. Его лицо как будто стекло к вискам и стало полудетским.

А дальше Димка помнил плохо.

Он почему-то оказался около канистр с бензином и сильно оттолкнул маму (как он мог такое сделать?!) Он совершенно не понимал, что делает — и в то же время понимал совершенно отчётливо. Потом он был снаружи и тащил тяжеленную канистру за неудобные «ушки» на башню «Паладина». Вокруг был день, вокруг была смерть, а над головой — прозрачное-прозрачное голубое, почти белое небо. И совсем рядом горела ещё одна машина — меньше, зелёная, не чёрная — и сидел человек без ног, смотревший на Димку невидящими глазами. Мальчишка установил канистру на бане возле люка и пробил несколькими ударами куска арматуры. Бензин потёк желтоватыми резко пахнущими струйками. Люк открылся. Высунулась круглая голова с большими чёрными глазами (оказывается, там не люди, оказывается, эти жуткие машины водят муравьи или кто-то вроде!) и сказала:

— О май год... бой... вотс ю дуинг?

Потом муравей достал пистолет, и Димка, столкнув на него — в люк — всё ещё очень тяжёлую, брызжущую бензином канистру, скатился с машины, доставая коробок спичек. Зажёг разом все головки. Внутри машины закричали на несколько голосов, и Димка, бросив комок огня на броню, изо всех сил прыгнул обратно в подвал. Сжался на полу между трупов американцев и старика.

Снаружи ухнуло пламя.

И только тогда он начал понимать происходящее.

Его вырвало — дугой, фонтаном, на пол и стену...

...Подошедшая сотня во главе с самим Верещагиным добила поляков на первом этаже. Трупы лежали на полу и лестницах. Одной паре — «Паладину» и «Брэдли» — удалось отойти. Но только одной. Два БМП и одну самоходку сожгли гранатомётчики Басаргина. Ещё один «Паладин» сгорел по причине, остававшейся непонятной, пока кто-то из дружинников не рассказал надсотнику о том, что видел из окна.

Верещагин спустился в подвал. Люди подались от него в стороны, но белобрысый худенький мальчишка, навзрыд плакавший в объятьях какой-то женщины, остался сидеть на месте.

Надсотник тяжело сел на самодельный топчан. Стащил берет и вытер им лицо. И только после этого узнал мальчика.

— А, добытчик, — сказал он. — Димон, кажется?

Зарёванный мальчишка несмело поднял голову. Посмотрел, часто моргая, на сидящего офицера. И вдруг улыбнулся — несмело:

— Это вы...

— Я, — кивнул надсотник. — Разрешите? — он отстранил руки женщины, которая смотрела на него со страхом. И притянул мальчишку к себе. Димка дёрнулся, но не стал вырываться и обмяк. Тихо, еле слышно сказал:

— Я правда... я это сделал?

— Да, — сказал надсотник. — Ты. Люди видели. Она почти вышла на прямую наводку. Если бы не ты — может быть, меня бы сейчас уже не было. Может быть, уже никого из нас не было бы. Ты хоть понимаешь... — он отстранил мальчика, — понимаешь, что ты герой?

— Уходите, пожалуйста уходите... — начала женщина, но Димка неожиданно сказал жёстко:

— Не надо, мама. Пожалуйста, помолчи, — и, отстранившись, повернулся к офицеру. — Я не знаю, — смущённо сказал он. — Я ничего не помню. Я просто...

И, не договорив, пожал плечами.

Басаргин молча опустил бинокль. Его породистое лицо было каменным.

— Да, это наши, — сказал он безразлично.

Верещагин, стоявший чуть дальше от пролома — чтобы не выдали блики на линзах — поднял свой небольшой «Tasco», купленный ещё в мирное время. Четырёхкратный, не такой мощный, как у Басаргина, бинокль, тем не менее, безотказно приблизил развалины церкви Ксении.

Четыре обнажённых, полуобугленных трупа были распяты на обломках обычных электрических столбов — головами вниз. Между двумя средними распятыми стоял фанерный лист с кощунственно выглядевшей надписью по-русски:

...ОБО МНЕ РАДУЕТСЯ ОБРАДОВАННАЯ ВСЯКАЯ ТВАРЬ...
РАДУЙТЕСЬ, РУССКИЕ ТВАРИ!!!

— Клим, — пробормотал Верещагин, глядя в лицо крайнего слева. Почти неузнаваемое, оно всё-таки принадлежало надуряднику Климову. Остальных опознавать и не требовалось — несомненно, это были его разведчики. — Клим-Клим, как же ты так... как же ты так... неудачно-то?

— Удачно или неудачно — но разведка сорвалась, — Земцов терзал свою коротко подстриженную бороду. — Командир, слышишь? Олег, да опусти ты бинокль!

Верещагин опустил бинокль, сунул его в чехол. Повернул к своим друзьям злое лицо.

— Я слышу, — сказал он. — Разведка сорвалась. Не глухой... и не слепой.

— Что будем делать? — поинтересовался Басаргин. — Между прочим, они наших заминировали, я проводки вижу...

— Что делать? — зло спросил Верещагин. — Ничего. Ночью сам пойду, ясно?!

— Х...я ты пойдёшь, — усмехнулся Земцов. — Клим в десять раз ловчее тебя был, и вот...

— Я сказал — пойду, значит — пойду! — заорал командир.

— Х...я пойдёшь, — непоколебимо сказал Земцов. — А будешь дурью маяться — скрутим. Ты командир, твоё дело...

— Моё дело — людей на смерть посылать? — приходя в состояние холодного ехидства, поинтересовался Верещагин. Но Сергей был невозмутим:

— И это тоже. Но основное — думать. Так что думай.

Неизвестно, что ответил бы разозлённый надсотник. Но все трое офицеров именно в этот момент услышал голос — не с неба, а от входа:

— Можно... можно я пойду?

Мужчины обернулись, и мальчишка, на котором скрестились их взгляды, явно оробел. Но от этого только стал напористей, и в голосе его явно прозвучал вызов:

— Давайте я пойду!

— А, это ты, Димка, — кивнул Верещагин. — Не шатайся днём по этажам, с ума сошёл, что ли?

— Я могу пойти, — повторил мальчишка упрямо. — Вы же сами говорили, что я...

— Говорил, — сердито оборвал его Верещагин. — И сейчас скажу, что без тебя сотню Игоря смяли бы. Но это одно дело. А другое — послать тебя...

— Вы меня не посылаете, я сам иду, — быстро возразил мальчишка и мотнул светлым чубом. — Ну это же мой район, я тут всё знаю!

— Слушай... — начал Верещагин. Но Земцов молчал, теребя бороду. А Басаргин вдруг сказал:

— А это выход.

— Выход?! — надсотник посмотрел на них. — Ну ладно бы я. У меня нет детей. Но вас-то обоих — вас же дети дома ждут! Так как же можно...

— А Клим не ждали, — напомнил Басаргин.

Верещагин выругался. Жена Климова и его младший сын Никитка погибли при бомбёжке колонны беженцев. Старший — приёмный — сын Юрка пропал без вести немного раньше.

— Я могу, — напористо-неистово сказал мальчишка, сжимая кулаки и весь подаваясь вперёд. — Ну я же правда могу, а вы не можете. Я схожу и вернусь. Вы мне только объясните, что нужно узнать. Я могу! — голос его стал умоляющим.

— Олег... — начал Басаргин. Верещагин оборвал его:

— Помолчи ради всего святого.

Теперь молчали все.

— Зачем тебе это нужно? — спросил Верещагин. — Объясни.

— Зачем?! — начал Димка агрессивно. И — захлебнулся. Беспомощно хлопнул глазами. Офицеры ждали. На ресницах у мальчишки появились капли, губы задрожали. — Я могу... — прошептал он и уронил голову.

— Ясно, — сказал надсотник. — Пошли. Будем говорить.

* * *

Пашка Бессонов согласился идти сразу. Димку не очень интересовало — почему, просто внезапно ему стало жутко идти одному. Он почти пожалел о своём решении — и, будь возможность повернуть время, наверное, не высунулся бы в комнату, где стояли офицеры. Но теперь отступить было некуда, и Димка нашёл компромисс — страшно обрадовавшись, когда Пашка сказал: «Конечно, пошли!»

А вот Влад сперва выпучил глаза, а потом насмешливо сказал:

— Ну ты даёшь.

— А что тут такого? — спросил Димка.

Они стояли у выхода из подвала и говорили тихо. Но Влад своему тихому голосу ухитрился придать незабываемые и разнообразные оттенки ехидства:

— А то, что ты баран без башни.

— Мы же туда сто раз ползали.

— За жрачкой. А не чтобы в пионеров-героев поиграть.

Димка вспыхнул. Он даже себе не признавался, что прочитанная им книга... в общем... в общем, это она руководила его поступками процентов на семьдесят. Влад бы не понял (Димка и сам не очень понимал). А тут — как будто мысли прочитал!

— А теперь — чтобы помочь нашим, — сказал Димка. Влад скривился:

— Нашим-вашим... Я вообще не понимаю, откуда на нас эта война свалилась. Наши ещё какие-то...

— Ладно, — отрезал Димка. — Матери не говори, куда мы пошли. Я ей наврал, что мы на море² пошли, рыбу глушеную пособирать.

— Вали-ите, — махнул рукой Влад. — Кто только вас собирать будет...

...Он нагнал Димку и Пашку на пересечении Лизюкова и Жукова, когда они, лёжа в развалинах, прицеливались, как ловчее перебраться за развалины кинотеатра «Мир». Мальчишки сперва вскинулись, но потом Димка спросил удивлённо:

* * *

— Ты?!

— Угу, — Влад втиснулся между ними. — Ну чего вы? Вон там можно пролезть, за

² Воронежцы в самом деле называют жуткую комариную лужу Воронежского водохранилища не иначе как «морем»!

бордюром. Пошли, пока ракет нет.

* * *

В три ноль семь Верещагин проснулся.

Снаружи бумкали минометы. Но это был не бой, а бессистемный обстрел, злость за позавчерашнее. И не это его разбудило.

Бросив взгляд на свои старые «командирские», надсотник увидел именно это.

03.07.

Через полчаса начнёт светать. Через час — рассветёт совсем. Димка ушёл в полночь. Если через двадцать минут они не вернутся — значит, их нет.

За столом спал, положив голову на руки, Пашка. Едва надсотник пошевелился, как вестовой вскинулся и сел прямо.

— Спи, — сказал Верещагин, подсаживаясь к столу и пододвигая блокнот.

— Не, я не хочу, сипло и обиженно ответил Зубков. В упор посмотрел на Верещагина и сказал: — Зря вы меня не послали.

— Ты не местный, Паш, — сказал Верещагин, начиная от руки линовать рапортчку. — А Димка местный.

— Местный, — фыркнул Пашка. — Он стрелять-то умеет?

— А ему и не нужно стрелять, — усмехнулся Верещагин. — Если разведчик начал стрелять — значит, плохи дела.

— Он вернется, — вдруг сказал Пашка. — Вы не беспокойтесь, он вернётся, время ещё есть. Вы не волнуйтесь.

— Не волноваться? — Верещагин тщательно провёл линию. — А я и не волнуюсь. Зачем мне волноваться за чужого мальчишку? — он хмыкнул и сказал: — Просто я когда-то не сдал два экзамена — первый по прощению, второй — по любви... Вот и всё.

— Не волнуйтесь, — повторил Пашка.

И почти тут же в коридоре что-то бумкнуло, кто-то засмеялся — и стремительно вошедший Басаргин выдохнул:

— Вернулись.

— Почему во множественном числе?.. — непонимающе пробормотал Верещагин, сам не замечая, как встаёт из-за столика. Лицо Пашки расплылось в улыбке.

— Запускать? — Басаргин тоже улыбался.

— Скорее! — крикнул Верещагин. И в его «кабинет» ввалились трое (трое?!) чумазных, оборванных, синхронно и широко лыбящихся мальчишек.

— Мы втроём ходили... — сказал Димка виновато, но в то же время буквально светясь. — Это вот Влад... вы его тогда видели, когда я вам сигареты подарил... а это Пашка...

— Мне было мало одного, — сказал Верещагин сухо, покосившись на своего вестового (он сидел на прежнем месте с видом «я же говорил!!!»). — А вот посылал я как раз одного.

— Ну... — Димка потупился.

— Он один здрыснул идти, — заявил Влад. — В ногах у нас валялся, чтобы мы тоже пошли.

— Докладывайте, — так же сухо (чтобы не захохотать, не расплакаться — не дай бог! — или не наделать ещё каких-нибудь глупостей) приказал Верещагин.

В мальчишках словно выключили тормоз. Все трое сунулись ближе к столу — и начался дикий галдёж:

— ...а мы ползком, а там собаки — rrrr...

— ...а я рукой прямо в гавно...

— ...а там кирпич — бум, и как заорут...

— ...а пушки стоят — самоходки, десять штук...

— ...а Пашка говорит: «Давайте что-нибудь напишем...»...

— ...а мы в том месте тогда ещё сигареты покупали, и в дырку — нырьк...
— ...нам как два пальца об асфальт, а они огромные, да ещё в снаряге...
— ...бздынь! Бздынь! У меня очко — жим-жим...
— ...вот, я на руке записал...
— ...гляжу — мина...
— ...а они бла-бла-бла по-своему, я вот, на диктофон записал, может, важное что...
— ...много — охер...ть...

Это был не доклад. Даже не его подобие. Это был просто весёлый и беспорядочный гомон. Но Верещагин не прерывал его. Он ещё расспросит всех троих — как следует и о том, о чём нужно. А пока...

Пока он просто стоял и улыбался, слушая, как галдят мальчишки.

* * *

Бла-бла-бла на чудом работающем в побитой «Нокии» диктофоне оказалось трёпом двух часовых-янки — о бабах. Но, что интересно — янки. Значит, морскую пехоту не отвели в тыл. К чему бы это?

Верещагин отложил диктофон и с удовлетворением посмотрел на карту, испещрённую обозначениями. Был практически полностью разведан квартал между улицами Владимира Невского, Жукова, Лизюкова. И это сделали трое тринадцатилетних пацанов! Эх, Клим-Клим...

Жестокая, свирепая улыбка прорезала лицо надсотника. Институт искусств — а в нём штаб польско-хорватской бригады... Верещагин посмотрел на часы. Пашка на своём скутере уехал в штаб десять минут назад. Ну погодите, братья-славяне, предатели хреновы — через полчаса на ваши головы ухнут 203-миллиметровые фугасы двух резервных «Пионов». Тогда вы — если уцелеете — поймёте, каково тем несчастным рядовым, которых вы гоните на наши стволы во славу своих заморских хозяев. Надеюсь, вы не сдохнете сразу, а помучаетесь с оторванными руками-ногами...

— Кто? — поднял он голову, услышав шаги — слишком осторожные для дружинника. — Кто там?

— Я... можно?

Мальчишеский голос... Со света Верещагин не сразу различил лицо, но голос узнал сразу:

— Заходи, Дим, — сказал он, ногой выдвигая стул, на котором обычно сидел Пашка. Но вошедший мальчишка покачал головой. Верещагину показалось, что он очень взволнован — и уж точно бледен. — Что случилось? Что-то с мамой?!

— Нет... — помотал головой мальчишка. — Я хотел... — он очень смутился, тяжело задышал. — Я хотел...

— Да не волнуйся ты так! — надсотник вдруг понял, что забеспокоился и удивился тому, что ещё может это — беспокоиться из-за одного человека. — Что случилось, говори спокойно.

— Я прочитал книгу... — Димка выложил на стол растрёпанный томик. — Вот...

— О-о-о... — лицо Верещагина вдруг стало таким, как будто он повстречал старого знакомого. Надсотник взял книгу, покачал её на ладони. — «О вас, ребята!» Я её очень любил. И издание было точно такое...

— Правда?! — обрадовался Димка. — Ну, тогда... — он опять сбился, раздражённо мотнул головой и решительно продолжал: — Я тут в одну комнату пролез, там стена рухнула... тут, в школе. Там разная пионерская атрибутика... — непринуждённо употребил он это слово. — Ну, и книги... Вот я её прочитал. Я читать люблю... И ещё я нашёл... — он полез под куртку-ветровку с надписью «Mongoose» и достал...

Надсотник ошалело моргнул, не веря своим глазам.

В руках у мальчишки был красный галстук — неожиданно яркий в свете керосинки.

— Это пионерский галстук, я теперь знаю... — сказал Димка. — Они там. В ящике в одном. Я... — он опять сбился. Надсотник молчал, держа руку на книге, лежащей на столе — как будто собирался в чём-то клясться на Библии. — Я хочу... — мальчишка вытаскивал слова, как через узкое стеклянное горлышко — звенящие и редкие. — Я хочу, чтобы... чтобы я не просто так был... а чтобы...

— Я понял, — сказал Верещагин. В глазах его — широко распахнутых, в красных прожилках недосыпа и страшной усталости — было недоверие, изумление и... и ещё что-то. Может быть — восторг? Или даже преклонение?

— Вы же были пионером? — спросил облегчённо Димка.

— Я был плохим пионером, — покачал головой Верещагин. — Вернее... никаким.

— Ну... пусть, — Димка шагнул вперёд, протягивая галстук на вытянутых руках. — Вот... пожалуйста.

Надсотник закашлялся, встал, провёл рукой во коротко стриженным седым волосам. Подтянулся. Взял галстук. Димка, не сводя с мужчины глаз, вжикнул молнией ветровки, повыше раскатал горло тонкой водолазки цвета хаки.

— Я что-то должен сказать, да? — спросил он. — Там же была... какая-то клятва?

— Была, — кивнул Верещагин. — Но я её не помню, Дим. Мы все давно забыли свои клятвы... Я не знаю слов...

— Пусть... — шепнул Димка. Глаза его стали упрямыми. — Тогда вы... вы просто придумайте, что мне сказать. Чтобы была клятва. Вы ведь можете. Вы до войны книги писали. Я узнал...

— Хорошо, — и надсотник вдруг вырос и построжал. — Я придумаю клятву. Повторяй за мной. Я, Дмитрий Медведев...

— Я, Дмитрий Медведев... — отозвался мальчишка, вытянувшись с прижатыми к бёдрам кулаками.

— ...вступая в ряды пионерской организации России...

— ...вступая в ряды пионерской организации России...

— ...и осознавая взятый на себя долг...

— ...и осознавая взятый на себя долг...

— ...торжественно клянусь...

— ...торжественно клянусь... — мальчишка коротко выдохнул.

— ...быть верным Родине, мужественным и честным... — звучал мужской голос.

— ...быть верным Родине, мужественным и честным... — повторял голос мальчишки.

— ...защищать то, что нуждается в защите, в дни войны и дни мира...

— ...защищать то, что нуждается в защите, в дни войны и дни мира...

— ...ни словом, ни делом, ни мыслью не изменять Родине...

— ...ни словом, ни делом, ни мыслью не изменять Родине...

— ...а если понадобится — отдать за неё свою жизнь.

— ...а если понадобится... — мальчишка на миг запнулся, но договорил твёрдо: — ...отдать за неё свою жизнь.

— Пусть будут свидетелями моей клятвы живые и погибшие защитники России и моя совесть.

— Пусть будут свидетелями моей клятвы живые и погибшие защитники России и моя совесть.

Надсотник повязал галстук на шею Димки. Побитые, перепачканные гарью пальцы мужчины сделали «пионерский» узел автоматически, заученно, и он невольно улыбнулся.

— Почему вы улыбаетесь? — строго спросил, поднимая голову, Димка.

— Узел, — сказал Верещагин. — Я научу тебя, как его правильно завязывать.

* * *

Он успел уснуть снова, но сон опять нарушили. Зевающий Земцов привёл какую-то

немолодую женщину, явно не знавшую, как себя вести, и старика — вполне бодрого, подтянутого.

— К тебе, — сообщил Сергей, уходя досыпать.

— Садитесь, — предложил Верещагин. — Хотите чаю?

— Спасибо, — поблагодарил старик, подождал, пока сядет его спутница, но дальше говорила именно она:

— Видите ли... я была директором этой школы. Станислав Степанович, — старик кивнул, — ветеран войны, он работал консьержем в одном из домов... — женщина откашлялась. — Вам не кажется, что это неправильно, происходящее сейчас? — увидев, что Верещагин иронично улыбнулся, женщина поправилась: — Я конкретно о ситуации с гражданским населением. Дети не учатся...

— Это даже не главное, — перебил её, извинившись взглядом, Станислав Степанович. — Я вот присмотрелся... вы воюете очень храбро, что говорить. Я не ожидал, что мы ещё можем так воевать... — в голосе старика прозвучала гордость, он кашлянул и продолжал: — Но вы воюете как бы сами по себе, понимаете? А ведь люди готовы помогать. Я со многими говорил, не только с пожилыми... И у многих есть навыки — например, можно делать мины, чинить форму, да мало ли что? Есть врачи, есть медсёстры, повара... Кроме того, гражданских надо отселить поближе к морю, это нетрудно...

Верещагин придвинул к себе блокнот и открыл его:

— Я писал докладную о чём-то подобном генерал-лейтенанту Ромашову, — медленно сказал он. — Но в общих чертах... А теперь давайте с вами поговорим подробно. И начнём — извините, Станислав Степанович! — всё-таки с детей.

— Олег! — рассерженный Земцов вошёл в комнату. — Извините... Что к тебе за делегации?! Эти пришли, которые... — он покосился на женщину. — Выйди.

— Я сейчас, — кивнул Верещагин, поднимаясь.

В коридоре переминались с ноги на ногу Влад и Пашка — друзья Димки. Пашка угрюмо молчал. Влад, глядя на офицера, сказал:

— Вообще-то это охренеть нечестно.

— Это ты о чём? — спокойно спросил Верещагин, мысленно посмеиваясь и не веря происходящему.

— А о том. Ходили вместе, и вообще вместе... А тут он приходит, гордый, как будто его орденом Сутулова наградили, с закруткой на спине...

— погоди, — оборвал его Пашка. Звонким от обиды голосом сказал: — Мы что, выходит, недостойны?

— А зачем вам это надо? — спросил Верещагин, про себя подумав: ни разу ни он, ни мальчишки не сказали, о чём идёт речь — и так понимают...

— Значит — надо, — упрямо ответил не Пашка — Влад. — Так что, нам валить, правда недостойны?

— Несите галстуки, — сказал наконец надсотник. — Нет, постойте. Утром. Через три часа. Во-первых, у меня дело. А во-вторых, чтобы вы подумали. Попросите Димку. Пусть почитает вам, как мальчишек на таких вот галстуках вешали. И, если не передумаете — через три часа у меня...

— Извините, — сказал надсотник, садясь к столу и придвигая к себе блокнот. — Ну что ж. Давайте вместе составлять проект — как жить дальше. Воевать будем мы. А вот жить придётся вместе...



СУД ГОРЯЩЕЙ ЗЕМЛИ

Ливень обрушился на Воронеж утром. Такой, какого ещё не было за весь месяц осады — тропически-бурный, тёплый, мгновенно наполнивший все канавы, все взревели трубы, все бетонные желоба, проложенные к водохранилищу с улиц обоих берегов.

Там, где набережная Будённого утыкается в пригородный лес, из развалин большого дома выскочили и с хохотом, криками стали носиться по лужам не меньше двадцати мальчишек и девчонок лет 7-10. Они прыгали, по воде, что-то кричали, поднимали руки и смеющиеся лица к небу, гонялись друг за другом и даже падали в тёплые, вспененные сотнями пузырей лужи, играли в салки вокруг трёх выжженных, давно остывших «Кугаров» с развороченными жуткими дырами в корпусах.

В десяти шагах от них, в широком бетонном жёлобе водоотвода, грудой лежали больше ста тел в чёрной форме — те, кто был убит ополченцами и казаками во время вчерашней попытки пройти набережной к Вогрэсовскому мосту, те, кто сдался в плен и был убит чуть позже.

Они лежали мёртво и неподвижно — наёмники знаменитых сетевых кондотьеров XXI века — «Blackwaters», «Beni Tal», «Close Quarters Protection Association», «Defence Systems Limited», «Military Professional Resources Incorporated», «Saladin Security», «Vantage Systems», «Grey Areas International», «Dynocorp», «Rubicon international», «Sayeret Group», «Global Studies Group Incorporated», польстившиеся, подобно своим предкам, на щедрую добычу, они получили не её, а — как те же предки четыреста и двести лет назад — свинец в живот; не пять тысяч пятьсот зелени в месяц, а нелепую и ненужную им смерть непонятно за что.

Они грудой лежали в водоотводе, и бурлящий поток шевелил их, придавая телам некое подобие жизни — жизни, которой они, молодые и сильные, обученные и уверенные в себе — не сумели распорядиться, и тёплый ливень колотил по драной чёрной форме, по запрокинутым к небу лицам, по толстой зелёной пачке, втиснутой в чей-то оскаленный рот, по надписи, вырезанной на чьём-то белом лбу ножом и уже почерневшей:

ЗА ЧЕМ ПРИДЁШЬ — ТО И НАЙДЁШЬ!

Наверху, над водоотводом, смеялись и шлёпали по лужам дети.

* * *

Ещё два месяца назад их не пустили бы сюда на порог — не то что в подвалы, в святая святых воронежского офиса РАО ЕЭС. Но те времена давно прошли, не было возле выбитых дверей охраны, да и самого офиса не было на две трети высоты, а его хозяин по слухам то ли сидел в американской тюрьме (где из него вышибали номера счетов), то ли был убит во

время бомбёжки Москвы, то ли растерзан толпой беженцев в Шереметьево около своего самолёта... Единственное, что о нём напоминало — большой цветной портрет, в котором торчали две «дартс», финский нож и который пересекала безграмотная надпись:

РЖАВЫЙ ТОЛЕК

Грохот канонады сюда почти не доносился. Пожалуй, подвалы офиса могли бы выдержать прямое попадание «томагавка», а уж от обычных обстрелов представляли собой вполне надёжную защиту. Четыре бензиновые лампы с мощными рефлекторами, направленными в разные стороны, стояли в центре круглого стола, за которым когда-то заседал совет директоров — «в прошлой жизни», как сейчас любили говорить. В данный момент за ним заседал совет председателей пионерских отрядов города Воронежа — в помещении, специально выделенном генерал-лейтенантом Ромашовым под координационный центр организации. На стене висела здоровенная карта города.

— Ну и давайте глянем, что у кого, — черноволосый мальчишка лет 15 с глубоким свежим шрамом через всю левую сторону лица положил на стол крепкие худые кулаки и слегка исподлюбья осмотрел всех присутствующих — председателей советов двух других отрядов, заведующих пионерскими мастерскими, складом продуктов, госпиталем и детским садом, редактора ежедневника «Русское знамя». — Давай, Димон, — он кивнул светловолосому худенькому пареньку, одетому в ушитую штатовскую куртку, с трофейным кольтем на поясе.

— У нас на сегодняшний день в отрядах сто двадцать семь человек, — сказал тот. — На попечении — семьсот сорок три штуки мелочи и триста одиннадцать инвалидов и стариков. Это последние данные, может, будут ещё коррективы, — он пожал плечами. — Капля в море. По моим данным, в городе ещё не меньше двадцати тысяч человек так или иначе нуждаются в нашей помощи.

— Медицина? — кивнул черноволосый.

— По-прежнему нехватка всего на свете, — угрюмо доложил рослый блондин, больше похожий на героя боевика про подростков. — Стиранные бинты... Вчера принесли упаковку промедола — двести доз. Я на ней сплю, — последнее заявление вызвало некоторое безадресное волнение. — Я на ней сплю! — с нажимом, повысив голос, повторил блондин, воинственно поглядев кругом. — Потому что я точно знаю минимум про троих — колются! И могу назвать имена, фамилии, сказать, у кого они... Ладно. Из наших в госпитале раненых трое. Один умирает — множественные ожоги, бутылки с коктейлем лопнули над головой... Семнадцать больных. Я вас прошу, черти — возвращайте сбежавших! Позавчера сбежал один — с температурой сорок... Вы знаете, кто и к кому! Верните добром, или с температурным бредом я его уже не приму. У меня всё.

— Продукты? — продолжал темноволосый. Поднялась худенькая, коротко подстриженная девчонка, похожая на молодой вариант Хакамады, в первый же день войны оперативно смывшейся в Японию. В подвале наступила опасливая тишина, даже сам спрашивавший как-то стушевался.

— Украли две пачки сухого крема, — индифферентно-неприятным голосом сообщила девчонка. — Украли, размешали с водой и съели. Нагло. Прямо за углом склада. И я знаю, кто это сделал, Золотце.

— М-м? — подняла золотистую бровь умопомрачительно красивая девчонка с лицом карающего ангела — ещё в конце мая этого года известная всей области, как «Мисс Воронеж Тин» года. — Ты хочешь сказать, что крем съела я? У меня диета.

— Не ты, но твои сопливые подопечные, — по-прежнему равнодушно уточнила стриженная. — Это саранча, а не дети.

— Растёт смена, оперяется, — заметили из полутьмы. В другом конце захрюкали от сдерживаемого смеха. Ещё кто-то потребовал:

— Позитив давай, Лерка, позитив!

— Вот вам позитив. НЗ в кои-то веки укомплектован. Холодильная камера работает, так что с продуктами всё будет в порядке.

— То есть, их никто не получит, — уточнил блондин-«медик». — Ты бы хоть бульонные кубики на госпиталь отстегнула.

— Перетопчетесь, — отрезала «Хакамада». — У меня всё.

— Детский сад? — продолжал темноволосый. Золотце неспешно поднялась и оперлась о стол кончиками расставленных пальцев.:

— Во-первых, я прошу возвращать всех младших, которые убегают «на линию». Чтоб ни единого там не было. Иначе буду скандалить вплоть до рукоприкладства. Дальше. Крем они правда съели, и я знаю, кто съел — они мне признались. Но не скажу. Ещё. Проблема с игрушками. В городе полно игрушечных магазинов. Добывайте, где хотите, когда хотите — но чтоб игрушки были. Не хочу, чтобы малышня играла гильзами. И так от их «бу-бух, падай, убит, сбил!» сердце щемит.

— М-м-м-м... — промычал кто-то.

— Слушай, парнокопытное! — взорвалась Золотце. — Двенадцатилетние играют в войнушку с настоящими автоматами — я с этим смирилась, раз уж взрослые охерели до такой степени! Но у маленьких должно быть детство! Даже здесь! Особенно здесь! И ещё — бумага и цветные карандаши, — уже спокойно добавила она. — И ночные горшки.

— Каски подойдут? — деловито спросил Димка. — Вернее, шлемы. Эй-Си-Эйч. С бумагой посмотрим.

— Подойдут. А с бумагой не смотреть, делать надо. И ещё — пусть найдут моеющее средство, какое угодно. А так у меня всё.

— Техника и оружие? — подбадривал черноволосый. Встал худощавый мальчишка в кожаной безрукавке. Сунув большие пальцы в брючные петли, он сообщил:

— Оружия и боеприпасов — полно. Любого. Если командующий захочет — танк пригоним.

— Не захочет, — нетерпеливо ответил черноволосый.

— Как хочет, — невозмутимо ответил «безрукавый». Среди пионеров царило оживление — благодаря в немалой степени их действиям добровольцы из гражданских получали трофейное оружие и достаточно боеприпасов, а обороняющиеся могли почти всегда восполнять потери. — Теперь о горючке. Дизтопливо почти всё забрали военные. Если бы забирали бензин — я бы и слова не сказал, его больше, чем надо. Но у меня три дизеля — холодильник, операционка, резерв. Как без дизельного-то?.. Велосипеды. Износ в среднем — 50 %. Даже у резервных — их у меня шестьдесят семь штук. За прошедший отчётный период, так ска-ать, накрылось пять машин, ещё две откопали где-то и пригнали, итого — минус четыре. Ребята раскопали турмагazin, там полно снаряжения. Можно получать, кому что нужно. Всё.

— «Русское знамя»? — кивнул черноволосый. Встал печальный мальчишка с каштановой чёлкой над большими очками, за которыми грустили карие глаза. И душераздирающе вздохнул, прежде чем начать говорить, чем вызвал волну таких же вздохов вокруг стола.

— Не смешно, — грустно заметил очкарик. — У меня нет проблем. Ещё нет бумаги и краски к принтерам. Предлагаю голосованием меня снять с должности и отправить в связисты или разведчики. А? — в голосе его прозвучала искренняя надежда.

— Будут тебе и краска, и бумага, — пообещал черноволосый.

— Только не в ущерб мне, — предупредила Золотко.

— Не в ущерб, не в ущерб... У тебя всё?

— Нет, — заявил очкарик. — Мне батарейки нужны. И скажите Мазуте, чтобы не отключал резервный, когда мы работаем.

— А я отключал?! — истошно заорал «безрукавый». — И вообще — какая скотина «крокодилычки» к кабелю подкусывает?! Поймаю — кастрирую на хер!

Участники совещания захохотали...

* * *

До поворота на Циолковского Димка и Сержант ехали вместе, синхронно крутя педали. После дневного дождя было свежо, но небо уже очистилось полностью.

— Ты к своим, в «Старт»? — спросил Медведев, притормаживая ногой. Черноволосый Сержант поправил галстук под джинсовой курткой, покачал головой:

— Не... Сначала попробую опять домой. Деда с бабкой уговаривать.

— Не уходят? — Димка вздохнул.

— Не... Бараны старые, — выругался Сержант. — Я им говорю — накроют вас бомбой или снарядом в вашей халупе — и ага. А дед в меня ковшом для воды... Ладно, поехал.

— Давай, — Димка оттолкнулся от бордюра. — Привет своим!

* * *

...Прошлой ночью «писькоделы» не прилетали, и я вопреки всему начал надеяться, что и в эту их тоже не будет.

Ходили слухи, что откуда-то с неведомых складов Ромашову всё-таки перебросили больше пятидесяти новеньких «мигарей», и они, взлетая с Авиастроителей, остановили «эфы» над Волгой, не дав им прорваться. Мы выпалились выше крыши, а под вечер принесли несколько ящиков с продуктами — пакеты риса, томатная паста, консервы из баранины... Всё было иранское. В одном из ящиков нашли записку, безграмотно написанную по-русски печатными буквами — учащиеся какого-то медресе писали, что восхищаются нашим беспримерным героизмом, молят Аллаха покарать агрессоров и посылают нам продукты, купленные на собранные деньги. Девчонки начали хлюпать, а мне почему-то было смешно...

...В наших подвалах всё было как весь последний месяц. Большинство раскладывалось спать. В дальнем углу шло родительское собрание. Любовь Тимофеевна на него не пошла и проверяла тетрадки своих младшеклассников. Лизка, собрав вокруг себя мелких, читала им про домовёнка Кузьку. Еще две наших девчонки, сидя на открытых ящиках, вяло спорили про то, сколько банок открывать на завтрак. За арочным проходом, завешенным шторами, стонали и матерились, металлически позвякивало — шли операции... ввалился Сержант. Я не ожидал, что он вернётся сегодня — наверное, дед с бабкой в очередной раз отказались покинуть свой дом и снова расплевались с внуком. Но куда удивительней было, что Сержант волок за руку Генку Ропшина. Да ещё в каком виде — грязного, волосы дыбом, одежда чем-то перемазана и порвана. Я просто офигел — мне казалось, что уж Ропшины-то точно давно на каких-нибудь Багамах или Канарах! Вспомнилось, как Колька хвастался загранпаспортом...

...- Посмотрите на это чудо! — объявил Сержант (все посмотрели; Генка тоже смотрел. Но не на нас, а куда-то мимо)

— Иду через парк, а он там сидит под кустами... Думал — позавчера попал под бомбёжку, крышу сорвало, вот и прячется. Взял его за руку, поволок домой, а у них там полторы стены, да и те дыматся. Ну, я его сюда... Оксидик, цветочек мой аленький, посмотри, что у него с руками.

— Трепло, — сказала Оксана, дернула плечом и пошла за своей сумкой. Я проводил её взглядом и пихнул локтем плюхнувшегося рядом Сержанта.

— Не заедайся к ней, понял? В морду дам.

— Дашь, — тихо ответил Сержант. — Потом. Ты давай, не сиди... Сейчас десантура сказала — идут, гады. Минут через десять будут...

— Ты где себе так руки изуродовал? Ты же их сжёг начисто! — Оксана бинтовала ладони безропотно сидящего Генки. — Ты чего молчишь, дубина?!

— Он по привычке пирожки прямо из духовки таскал, — сказал кто-то, и вокруг заржали. Генка посмотрел немного осмысленней, улыбнулся странной улыбкой и

неожиданно тонким, но очень ясным голосом сказал:

— Не... Там мама горела и кричала. В доме. Я хотел её откопать и не смог...

Стало очень тихо. Я увидел, как Любовь Тимофеевна подняла голову и вдруг взялась за виски, стиснула их так, что побелели пальцы. А потом в этой тишине родился и врезался в мозги тонким буровым вой сирены...

— ...Спать, спать, спать, — командовала Лизка. — Быстро и без разговоров. Поспите, а там будет день, днём они не летают. Младшие слушались её безропотно — укладывались, тихо помогая друг другу, кто-то добавочно объяснял: «Днём они не летают, не бойся. Днём они наших „мигов“ боятся. Я тебе потом картинку покажу...»

Очень испугались, подумал я, подхватывая эскаэс из шкафа и одновременно перебрасывая через плечо сумку с противогазом. На весь юго-восток — сто пятьдесят машин. Без единого командования. А у писькоделов сколько?.. Что вы сказали? То-то же... Ребята вставали у входа, кто-то курил, отворачиваясь от родителей и учителей, прервавших свои посиделки в углу. Я нашёл взглядом маму и тут же отвернулся. Снаружи продолжало выть, но к этому звуку примешался ещё один — торжествующе-слитный гул десятков двигателей в небе.

— Готовы? — Дюк оглядел нашу банду. — Ну, тогда что — пошли...

— Я с вами.

— Ты же не в отряде, — сказал Дюк, и все на него поглядели — впервые наш командир сморозил глупость. Он и сам это понял и махнул рукой: — Ладно, двигаем. Лишним не будешь.

— Он же почти без рук! — завопила Оксана, но уже нам вслед...

— Он там! — крикнул Сержант. — Лихач, давай туда, он там, я же видел парашют!

— А ты? — крикнул я. Сержант отмахнулся со зверским лицом:

— Потом подберёшь! — и откинулся на асфальт. Я рванул бегом и даже не сразу осознал, кто бежит рядом со мной в грохочущей, стонущей огненной тьме — а это был Генка. Мы обменялись короткими взглядами и ничего друг другу не сказали...

— Погоди, Лихач, — Генка тяжело дышал. — Смотри. Вон он.

От удивления я онемел. Мы бы пробежали мимо. Человек, которого заметил Генка, стоял среди теней пламени, среди шевеления веток и сам казался их частью. Но сейчас я вдруг увидел его очень отчётливо и поразился тому, какой он огромный, этот первый увиденный мной вблизи враг — настоящий враг, янки, не наёмник из Восточной Европы. Длинноногий, широкоплечий, в могучих ботинках на толстой подошве, с ёжиком волос, отливавших латунью... Я не мог понять, какого цвета у него комбинезон, многочисленные нашивки отливали одинаково-алым, казалось, что форма сбитого лётчика тут и там испятнана кровью. Но он, похоже, даже не был ранен и не видел нас — глядя в другую сторону, он возился с чем-то на поясе... Я увидел большую кобуру и, охваченный внезапным страхом — не дать ему достать оружие! — заорал, вскидывая карабин и от испуга вспомнив английский:

— Дроп ё ган! — хотя, чтобы бросить оружие, он должен был его минимум достать. — Фризз! Хэндз ап!

Тут тоже была неувязочка — как он мог поднять руки, если я приказал ему замереть?.. Он повернулся — быстро, резко — и я обмер, ожидая, что сейчас он, как в кино, ловко выхватит оружие и я просто не успею ничего сделать с этим огромным мужиком. Отсветы пожара упали на лицо — мужественное, гладко выбритое...

...Лётчик как-то странно присел и вдруг улыбнулся криво. Губы у него дрожали. Он замотал головой и заторопился словами:

— Донт шут... Плиз, бойз... донт шут... — потом, словно что-то вспомнив, торопливо полез в нагрудный карман, и я, так же стремительно забыв английский, завизжал:

— Стой, гад!!!

Он тихо вскрикнул, отдернул руку и снова криво улыбнулся:

— Но... но, бой... Вэйт э минэт, плиз... Донт шут... Плиз, итс мани, онли мани... — он

всё-таки влез в карман, что-то там драл и рвал, не переставая жалко улыбаться, потом достал ладонь и протянул её к нам. — Фор ю... анд юо фрэнд, фор хим, бойз... Мани, голд... Тэйк, донт шут...

Я не сразу понял, что за кругляши у него в ладони — их там было больше десятка, явно тяжёлых, отсвечивающих красивым медовым блеском. А он всё улыбался, тянул дрожащую руку и говорил:

— Фор годнесс сэйк... донт шут... Ай хэв чу бойз ту... чу бойз, ю андестенд?

Тэйк голд, энд ай го...

— Чё он хочет? — тупо спросил я, не опуская карабина. Генка тихо сказал:

— Даёт деньги, чтобы отпустили... Лихач... Леш, дай карабин.

— На... э, зачем? — я сжал пальцы на ложе. Генка посмотрел мне в глаза и тихо сказал:

— Дай.

Я разжал пальцы, как под гипнозом...

...Золотые монеты посыпались из ладони. Лётчик вдруг подломился в коленях и, рухнув на землю, уже не тянул руку к нам, а как бы закрывался ею, трясущейся, с растопыренными пальцами, и его глаза блестели какой-то масляной животной плёнкой. Он открыл рот — и вместо слов оттуда вырвался вой. Это был дикий, непереносимый звук — я отшатнулся, не в силах его слышать — вой, в котором уже не было ничего человеческого, никаких чувств, кроме одного бесконечного ужаса. Так не кричали даже сгоравшие заживо в домах, которые, может быть, сжёг этот крепкий, красивый человек, похожий на героя боевика.

— Страшно умирать, сука? — спокойно и даже как-то равнодушно спросил Генка, поднимая карабин. — Моя мама тоже кричала, гад. И я кричал... Пусть и твои дети покричат. Получи!

Он неловко нажал пальцем забинтованной руки на спуск, выстрелив лётчику в лицо прямо сквозь крупно дрожащую, холёную ладонь.

* * *

— В воздушных боях этой ночью сбито восемь истребителей-бомбардировщиков и два штурмовика противника, — читал Пашка сводку штаба с грифом «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ТОЛЬКО ДЛЯ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА». — Наши потери — два истребителя МиГ-29...

Надсотник Верещагин проверял списки новичков. За прошлые два дня в дружину записалось 16 добровольцев, в их числе — три женщины.

— ...сформированные в Зауралье части РНВ, казачьи подразделения и переформированные части старой армии, подчинённые РНВ, сейчас насчитывают до полумиллиона человек... — Пашка зевнул. — Оккупационные войска по-прежнему занимают позиции вдоль западных отрогов Уральских гор. Китай заявляет, что ни в коем случае не позволит втянуть себя в войну на чьей-либо стороне...

— Отдохни, — сказал надсотник. Встал, одёргивая форму. — А я пойду пройдусь.

ИМЯ ДЛЯ ОТРЯДА

Руки полковника Палмера тряслись. Не от страха — от гнева. Инструктор при польско-хорватской бригаде, опытный военный, он никогда не поверил бы, что может испытывать такой гнев. Больше всего ему хотелось набить морду генералу Новотны.

Что было невозможно по нескольким причинам.

Он ещё раз перечитал бумажку, снятую с дверцы своего «хаммера» — про себя, хотя он уже не сомневался, что бумажку с подобным содержанием тут знают наизусть — Новотны неохотно, но всё-таки сказал об этом полковнику, который, хоть и был ниже в звании, на деле — и это всё понимали — являлся реальным командиром. (Начавший службу в 1984

году Яцек Новотны часто ловил себя на мысли, что ни один советский офицер никогда не позволил бы себе в адрес офицера польского и десятой части того, что позволял себе этот янки... а вот сейчас генерал подумал, что ему, пожалуй, приятно видеть Палмера в таком состоянии)...

Полковник в третий раз вчитался в русские слова — он хорошо знал язык.

Привет, долбо...бы!

Смерть ваша не за горами — за ближайшими домами!

Fack you сто раз в задний глаз!

Димка-невидимка.

Палмер скомкал бумажку нервным движением, лучше любых слов говорившим о том, как он разгневан. Молча швырнул комок бумаги на щебень и, широко шагая, пошёл к своей машине, окружённой кольцом лёгких пехотинцев 4-й дивизии армии США. И не повернулся, когда кто-то из поляков (а их много удобно устроилось вокруг) свистнул и крикнул:

— Цо пан пуковник денервуе?! То ест смях москальски, доконд пан зуспешам?!

— Го-го-го! Га-га-га! — отозвались солдатским смехом развалины.

* * *

— «Привет, долбо...бы!» — с выражением начал Верещагин. Его вестовой, набивавший патронами пулемётный барабан, хрюкнул. Надсотник, не обращая на него внимания, продолжал читать, хотя стоящий перед ним Димка Медведев побагровел до малинового цвета и опустил голову ниже плеч. — «Смерть ваша не за горами — за ближайшими домами! Fack you сто раз в задний глаз! Димка-невидимка». Что молчишь, Пушкин? — с насмешкой спросил офицер. Мальчишка переступил на полу. Вздыхнул. Скрипнул каблуком. — Правда невидимкой решил заделаться?

Мальчишка вздохнул снова. У сидевшего над картой командира третьей сотни Шушкова, заменившего трагически погибшего Климова, дёргались губы. Верещагин вздохнул тоже:

— И это первый пионер города Воронежа. Начальник штаба отряда. Опора. Смена. Человек, которого я представил к награждению Георгием 4-й степени (Димка капнул на ботинок). Матершинник и провокатор.

— Чего я провокатор... — безнадёжно отозвался Димка.

— Провокатор, — безжалостно повторил Верещагин, покачиваясь с пятки на носок. — Вместо того, чтобы заниматься разведкой, ты лепишь похабные писульки на вражескую технику. Думаешь, им это приятно? Они злятся. И, соответственно, усиливают охрану. Потом твои же ребята идут в разведку и напарываются на это усиление. Это и называется провокация.

Димка капнул два раза — на левый и правый ботинки. Верещагин вздохнул:

— В общем так. Сдать ремень. Шнурки из ботинок. Всё оружие. Я тебя арестовываю на пять суток. Будешь отсиживать при кухне, заодно и поработаешь на благо моей измученной дружины. Я жду.

Уже без стеснения всхлипывая, мальчишка сдал требуемые предметы. Потом поднял мокрые испуганные глаза:

— А галстук?! Тоже... сдавать?!

— Нет, — сердито ответил Верещагин. — Шагом марш отсюда, куда сказал. Выходить можешь только в сортир и на работы...

— Есть, — вздохнул Димка, повернулся через правое плечо и вышел.

— Поэт-песенник, — буркнул Верещагин, бросая на свою кровать конфискованные предметы. — Лебедев-Кумач.

— Что ты на него взъелся? — удивился Шушков, откладывая карту и беря гитару. — Хороший парень. Вон, гитару мне принёс.

— Да не в этом дело, не в записке этой... — Верещагин подсел к столу, посмотрел на вестового. — Пошел отсюда, Большое Ухо.

Зубков встал с видом смертельно оскорбленного человека и медленно вышел походкой тяжело больного. Верещагин проводил его взглядом и повернулся к Шушкову. — Понимаешь, Саш, он страх потерял. Тот самый, старый добрый страх, который позволяет сохранить голову. Ему начало казаться — я же вижу — что это всё игра. Пусть посидит и подумает. Тем более, что завтра ночью «Солардь» идёт на автокемпинг на Антонова-Овсеенко. Учти, выдаю тебе военную тайну.

— Туда? — Шушков помрачнел.

— Туда, он же и разведал, — Верещагин кивнул. — Вот я и боюсь — с ними увяжется. Нет уж, лучше пусть под арестом посидит.

— Ну, может ты и прав, — согласился Шушков. — Спеть?

— Спой, — согласился надсотник, откидываясь к стене.

— А помнишь, тридцать лет назад —
Звнящий май, и солнце в луже,
И чистые глаза ребят,
С которыми по школе дружен.

И лебедь в парке на пруду,
И мамина лапша «по-флотски»,
И «Смоков» хит What Can I Do?,
Перекрываемый Высоцким.

Не знаю, чья виновна власть
И кто сие придумал средство:
Как будто бомба взорвалась
И разорвала в клочья детство.

И объяснениям — грош цена.
Читаю на могильных плитах
Друзей тогдашних имена,
Теперь безжалостно убитых.

И, поднимая к небу взор,
Грехи и беды взвесив строго,
НЕ ПРИНИМАЮ злобный вздор,
Что чья-то смерть угодна Богу.

Друзьям, крестившимся в крови,
Чрез смертную прошедшим муку,
Я в знак неумершей любви
Свою протягиваю руку.

За вас, ушедших в мир теней,
Увековеченных в граните,
От нас, живых ещё парней,
Стихомоление примите.³

³ Стихи Д. Ляляева. То, чего не мог себе представить даже после всего уже увиденного на войне.

* * *

Надсотник Верещагин ошибался.

Ошибался, несмотря на весь свой школьный и военный опыт.

Димка Медведев не «потерял страх». Скорее наоборот — понял, что не знал настоящего страха до той ночи три дня назад, когда, находясь во вражеском тылу, увидел

* * *

Он и раньше знал, что на той стороне остались гражданские. Не очень много, большинство не успевших покинуть город скопились под защитой «своих». И всё-таки были. Димка видел, как с большого грузовика им раздавали продукты. Раздавали, люди брали... а сбоку стоял ещё один грузовик, и возле него — несколько штатовских военных. По временам они выводили из толпы то молодых женщин, то девочек, то мальчишек, сажали в свою машину. Когда она отъехала, Димка стал красться следом. Грузовичок шёл медленно, мальчишка мог не отстать и добрался до окраины города, до автокемпинга.

О том, что он видел там, Димка Медведев никому не рассказал в подробностях. Просто когда он вернулся, то от него шарахнулась мать, казалось, привыкшая к тому, чем занимается её сын. А Димка посидел в подвале — и отправился к Верещагину, потребовав у него устроить сию секунду встречу с генерал-лейтенантом Ромашовым.

Надсотник различил на висках мальчика седину. Почти незаметную в светлых волосах. Но седину. И кивнул только. Ни о чём не расспрашивал. А в кабине «гусара», когда они мчались через Вогрэсовский мост, мальчишка вдруг сбивчиво сказал надсотнику: «Там... там девочки, маленькие совсем, дошкольницы... и мальчишки даже... я не знал, что такое... что такое... что так вообще можно делать... и там... и там собаки ещё, и...» Он захлебнулся, а Верещагин прижал его голову к своей груди, и Димка притих, молчал до самого штаба Ромашова.

А Ромашов вызвал «Солардь».

«Солардь» был спецназом РНВ. Его бойцов не звали по именам, потому что не знали их имён. А что знали? Что «Солардь» приносит человеческие жертвы. Что «Солардь» поклоняется Перуну. Что «Солардь» может всё. Знали кучу всего — и ничего достоверного. Кроме одного. Оккупантов бойцы «Солардь» звали не «врагами».

Они звали их МЯСО.

* * *

Командир «Солардь» был маленький, тощий, пожилой, со скандальным голосом пенсионера-общественника. Сейчас, когда он сидел в комнате Верещагина в гостиничном подвале, посвистывая, пил чай и недовольно смотрел по сторонам, надсотник невольно поражался тому, каков контраст между внешностью и содержанием, если можно так сказать.

Надо сказать, никто из тридцати пяти человек отряда (столько их было в начале боевых действий; сейчас осталось двадцать девять) не выглядел Рэмбо или Балухом. Обычные молодые мужики; пара — уже не очень молодые, тройка — совсем мальчишки. Таких полно в каждом подразделении. Но даже на их фоне командир по прозвищу Дед выглядел вопиюще невоенным человеком.

— Мальчишку, значит, не отпустишь? — Дед поставил пустую кружку. — Плохой у тебя чай, надсотник, чай заваривать не умеете...

— Не отпущу, — покачал головой Верещагин. — Хоть стреляй, хоть приказ от генерала суй...

— Откуда такой приказ, если ему четырнадцать лет... — пробормотал Дед. — Ладно, может и правильно. Кемпинг мы знаем, кое-кто из моих там до войны часто бывал...

Обратно вот. Если их там больше сотни, да маленьких много, да забитые все — как обратно-то идти...

— Дед, — Верещагин навалился на стол. — Как на бога молиться буду. Выведи, а? Все тебя просят. Весь город.

— Выведи... Думаешь, мало их сейчас по России — женщин и детей — вот так мучаются? — беспощадно сказал спецназовец.

— Много, — кивнул надсотник. — Но этих-то можем спасти. Дед, не выведешь — я утром дружину в атаку подниму. Все пойдут.

— Чего ты меня уговариваешь? — брюзгливо сказал Дед. — У меня-то как раз чёткий приказ. Значит — выполню. Только вот думать надо — как. Ты вот что, надсотник. Ты погуляй. А мне сюда пусть план кемпинга принесут, скажи там, снаружи, чтобы Барин принёс, там есть такой — скажешь, он сразу принесёт. И кипятку с заваркой, а сахара не надо — сам чай заварю, а то от ваших помоев с души воротит...

* * *

— Значитца, сделаем так, — Дед со вкусом прихлебнул из кружки чёрный, густой, как дёготь, чай — практически чифир. Поставил кружку на край карты. — Туда мы доползём, тут даже вопросов нет. Там тоже всё тихо сделаем, вот сейчас ребят проинструктирую пофамильно — и ни одна мышка не пукнет. А обратно мы поедем.

— Поедете? — Верещагин ошалело посмотрел на Деда. Тот опять отпил из кружки и кивнул:

— Ага. Я человек старый, чего мне ноги-то бить? Тут четыре километра по Хользунова. Улица не перегорожена — так, рогатки в нескольких местах. Пароли мои ребята на месте узнают. Грузовики у них там стоят на бывшем рынке, рядом. Переоденемся — да мы даже заранее переоденемся. В штатовцев. Детишек и баб погрузим. Сядем. Поедем. Шум поднимать всё равно некому будет — ну, разве что случайно. Езды тут — пять минут. Ну — шесть. А штатовцев пшеки всё равно останавливать особо не станут. Пока с начальством свяжутся, пока то, пока сё...

— Наглость, — сказал Верещагин, качая головой.

— Так это — наглость второе счастье, — заметил Дед, вставая. — Ну, я пойду готовиться. А ты, надсотник, вот что. Ты с полуночи и до трёх утра держи проезд на Московский проспект открытым. Сегодня в ночь. Ну и завтра — на всякий случай. Вдруг задержимся? Уговор?

— Уговор, — Верещагин пожал протянутую руку. И только сейчас заметил на тыльной стороне кисти Деда синие штрихи татуировки — буквы ГСВГ.

* * *

Свирепо дёргая ножом, Димка чистил чёрт-те-какой по счёту вялый прошлогодний клубень. В соседней комнате повариха — девчонка на пять лет старше него — напевала немелодично «с Новым Годом, крошка» и по временам нагло покрикивала:

— А-рес-то-ван-ны-ы-ы-ый! Скоро дочистишь?!

— Лахудра, мочалка, блин... — бурчал мальчишка и кромсал картошку. За этим занятием и застал его Верещагин.

— Ты ещё и вредитель, — грустно сказал надсотник, останавливаясь в дверях. Димка вскинул злые глаза:

— Почему вредитель? — не удержался он.

— Потому что у нас картошки хорошо если десять ведёр. А у тебя половина в отходы уходит. Дай сюда.

Отобрав у Димки нож, он присел на корточки и начал ловко, одной лентой, снимать тонкую кожуру, почти непрерывно вращая картошку в пальцах.

— Дома не чистил, что ли? — поинтересовался он.

— У нас ножик был специальный... — Димка с интересом наблюдал за процессом и, когда очищенная картошка булькнулась в ведро, с готовностью подал новую. Верещагин засмеялся и вернул нож:

— Дочищай норму и свободен. Зайдёшь ко мне за барахлом.

— Я всего три дня отсидел, — напомнил Димка.

— А больше и не надо, — ответил Верещагин. — «Солардь» вернулся.

— Вернулись?! — Димка приоткрыл рот. — А они...

— Вывезли сто семнадцать человек, потерь нет, — сказал Верещагин, встал и, не оглядываясь, вышел.

Димка засмеялся. Подбросил картошку, поймал её на кончик ножа. Вздохнул. Начал чистить, стараясь срезать кожуру так же, как надсотник.

И, чертыхнувшись, сунул в рот порезанный палец.

* * *

— Сержант уже не вернётся.

Димка промолчал, ощущая, как сами собой набухают губы. Потом спросил у Верещагина, неотрывно глядящего в проём окна:

— Я не знал, что его посылали... А он один ходил?

— Нет, — надсотник пошевелился, сел удобнее на опрокинутом шкафу. — Я не знаю, если честно, кто с ним был. Ещё двое ребят из его отряда.

— Может, они просто... задержались? — безнадёжно спросил Димка.

— Нет, — надсотник вздохнул. — Они... они висят на пересечении Острогожской и Херсонской, Дим.

— Как... — Димка подавился — Как висят, Олег Николаевич?

— За ребро, — тихо ответил надсотник. — За ребро на фонарных столбах они висят, Дим... Одно хорошо — кажется, их повесили уже мертвыми.

Димка отвернулся в угол. Верещагин продолжал смотреть в окно.

Где-то там, на юго-западе, в придонских плавнях, лесах и одичавших садах, ждали проводников и плана действий почти три тысячи бойцов, подошедших на помощь блокированному гарнизону Воронежа. Чэзэбэшники, сводный отряд из старших суворовцев и кадетов, кубанцы — тащившие на себе боеприпасы, немало продуктов, медикаменты. Войти в город с боями они не могли, слишком неравными были силы. Ромашов со штабом выбрал место для возможного прорыва, составил план. Оставалось одно — связаться с командованием отряда.

И при попытках установить эту связь погибли уже две группы. Первая — разведчики-десантники. Вторая — мальчишки Сержанта во главе с ним самим.

— Скоро янки опомнятся, — сказал Димка, глядя всё туда же — в угол, — и перепашут участок самолётами. Я те места знаю, там глушь, но со всех сторон дороги. Олег Николаевич, я пойду, а?

— Придётся, — Верещагин не отворачивался от окна. — Один пойдёшь?

— Нет... Зидана возьму... ой, Альку Зиянутдинова. Он в Малышево родился, всё там исползал.

— Не ходи сам, — предложил надсотник. — Пошли Альку и ещё кого-нибудь. Ты всё время сам ходишь.

— Все ходят, — возразил Димка и встал со шкафа. Поправил куртку, ремень. — Дел много. А тут такое... в общем, сам пойду. Сержант, наверное, на Песчаном Логу сгорел. Там вроде маленькое пространство, а всё открытое. Наверное, решил — перебежим. И забыл, что там пожаров-то нет, фона нет, в ночники всё видно. А мы вдоль речки пойдём, она в Дон впадает. Там дольше, зато рощи, а потом сразу садовые участки. Нырть — и на месте. Всё нормально будет. Я пойду готовиться.

— Да, — Верещагин кивнул. — Иди, потом зайдёте ко мне, я всё расскажу, как следует... Погоди, Дим! — надсотник встал. Мальчишка остановился у порога. — Это очень важно. Надо дойти. Надо, чтобы они прошли в город.

— Ой, да всё сделаем! — сказал Димка. И улыбнулся. Потом улыбка исчезла, он тихо добавил: — Сержанта жалко. Очень.

Круто повернулся и вышел из комнаты.

* * *

— Всё, — прошептал Зидан и, повернувшись на бок, вытер лицо, перепачканное болотной жижей. Подмигнул Димке. Димка подмигнул ему. Зидан подмигнул снова (он был совсем не похож на татарина, синеглазый и белобрысый), и мальчишки синхронно хихикнули.

До рассвета оставалось полчаса. Но они лежали в полусотне метров от сожжённого полевого стана, за которым начиналась садовая глушь. Оставался последний бросок, и они законно переводили дыхание после четырёх часов ползания на животах по болоту, траве, щебню и прочим милым местам.

— Пошли, — Димка приподнялся. Но тут же присел на корточки. — Вот что... — он покусал губу, посмотрел на развалины. — Я сейчас пойду. Если позову — иди следом. А если что-то... — он покрутил ладонью. — Не вздумай лезть. Сразу уходи в обход.

— Да нет там никого, — сказал Зидан недовольно.

— На всякий случай, — строго ответил Димка. — И помни — я тебе приказал. Если что-то — сразу уходи.

— Ладно, понял, — буркнул татарчонок.

Димка поднялся и пошёл, чуть пригнувшись, к стану. Вообще-то он тоже был уверен, что там пусто (тыловой рубеж обороны интервентов остался на городских окраинах, и его они обошли по реке). Но всё-таки. Ну, просто на всякий случай.

Ему оставалось пройти метров пять, не больше, когда из чёрного широкого проёма дверей вышли сразу двое. Димка не различил ни лиц, ни каких-то знаков различия. Но угловатое снаряжение, матовый мутный блеск на шлемах — не оставляли сомнений в том, кто это такие.

Вот и всё, очень спокойно подумал Димка. И рванулся в сторону, выдёргивая из кобуры кольт.

Очевидно, встреча была неожиданной и для этих двоих. Грохнула, раскатилась запоздавшая очередь. Димка, согнувшись, метнулся в темноту — с пистолетом в руке, но не стреляя. Потом — обернулся, упал на колено, выстрелил — раз, другой, третий — не целясь, отдача рвала руки.

Он мог уйти. Во всяком случае — попытаться уйти в темноте. Но сейчас важно было, чтобы Зидан понял, что к чему и тоже ушёл — незамеченный совсем, в другую сторону.

Димка перебежал и выстрелил снова. Ему ответили несколько автоматов и крики — неразборчивые, казалось, отовсюду. По развалинам сбегались люди. Мельтешили тени, и мальчишка выстрелил по этим теням — ещё, ещё, ещё! Сменил магазин, щёлкнул затворной задержкой, перебежал. Залег, отполз. Нет, прятаться нельзя... Выстрелил снова, ещё раз — и попал, возникший было слева среди развалин чёрный силуэт молча сложился пополам и исчез. Пять патрон. Можно выстрелить ещё четыре раза — и попытаться убежать, Зидан наверняка уже чешет в другую сторону и уже далеко...

Выстрел. Ещё выстрел — и мальчишка опять попал, но на этот раз подстреленный закричал, падая.

Ещё два раза. Димка вскинул кольт в обеих руках, прицелился, закусив губу — и в тот же миг на него навалилась страшная живая тяжесть. Мальчишка попытался вдохнуть — и не смог...

* * *

— Ну привет, Димка-невидимка.

Облегчение, которое Димка испытал при этих словах, было ни с чем не сравнимым. Рассвело. На него смотрело улыбающееся — совершенно своё, родное! — лицо. Человек, улыбаясь, держал в руке несколько листовок — вынутых из кармана Димкиной куртки.

Обрадованный и испуганный (неужели он стрелял в своих?!), Димка попытался сесть.

Руки его были связаны за спиной.

А в следующий миг мальчишка увидел на рукаве формы человека — на рукавах всех столпившихся вокруг людей! — сине-жёлтые нашивки.

— Поднимайся, — сказал украинский офицер. — С тобой жаждет поговорить полковник Палмер из польско-хорватской бригады. Ты ему чем-то крупно насолил.

Димка начал вставать — неловко. Кто-то ударил его ногой под коленку — мальчишка повалился лицом на битый кирпич и, ощутив вспыхнувшую во всю щёку жгучую боль, с холодным ужасом понял — это только начало.

Стиснув зубы, он начал вставать снова. На этот раз ему не мешали. Поднявшись в рост, мальчишка сморгнул слёзы (будь они прокляты, как же они всегда близко, сколько он из-за этого натерпелся!) и, обведя солдат мокрыми глазами, сказал отдельно и отчётливо:

— Предатели. Паскуды. Бендеровцы.

Тогда его начали бить. И били всё время, пока волокли к «бб-му».

* * *

Прорывающиеся в Воронеж части атамана Хабалкова смяли украинскую бригаду, как пустую картонную коробку. Среди укреплений и брошенной техники тут и там валялись трупы. Около пятидесяти бойцов присоединились к атакующим.

Алька Зиянутдинов искал Димку. Искал, рискуя достаться наседающему, опомнившемуся врагу — парни-суворовцы уволокли спятившего татарина силой. И уже возле водохранилища один из украинцев-перебежчиков сказал Альке, что какого-то мальчишку солдаты роты «Січ» взяли живым и увезли на север за сорок минут до прорыва.

* * *

Больше всего полковника Палмера изумили две вещи.

Первая — невысокий белобрысый мальчишка заплакал. Заплакал после первой же — и единственной в этот раз — пощёчины, которую полковник отвесил ему даже не по ободранной щеке. Палмер решил, что разговор будет коротким и простым — и даже великодушно подумал, что, пожалуй, отправит этого ревущего «невидимку» после допроса в фильтрационный лагерь.

Вторая — мальчишка ничего не говорил.

Он ничего не говорил все те два часа, пока Палмер, капитан и двое лейтенантов то вместе, то попеременно орали на него, трясли кулаками и угрожали. Начинал плакать опять — и молчал. Когда потерявший терпение полковник сам сделал мальчишке укол пентотала, тот успокоился, а потом начал рассказывать какие-то нелепые школьные истории, совершенно не обращая внимания на задаваемые ему вопросы. Эта чушь про школу лилась из него непрерывным потоком, пока через полчаса мальчишка не отрубился.

Через четыре часа всё повторилось снова. Удар по лицу. Слёзы. И категорическое, упрямое молчание.

— Нечего делать, — Палмер поморщился. — Передадим его сержанту Лобуме.

— Я против, — вдруг сказал капитан Эндерсон. Полковник изумлённо уставился на своего подчинённого. Эндерсон свёл брови и повторил:

— Я против, сэр. Я вообще против присутствия этой гориллы в нашей части. Это позор

армии США. И я против того, чтобы мальчика отдавали на растерзание.

Полковник Палмер молчал изумлённо и гневно. Оба лейтенанта — достаточно тупо. Наконец полковник зловеще спросил:

— Это ваше официальное мнение, капитан?

— Да, сэр. — упрямо сказал Эндерсон, и его худое лицо вдруг стало ожесточённым. — То, что вы хотите сделать сейчас — это несмываемое пятно на нашем мундире... а он и без того достаточно грязен, сэр, видит Бог.

Полковник заставил себя успокоиться. Военный в бог знает каком поколении (редкость для США), капитан Эндерсон был лучшим из его инструкторов.

— Ничего не будет, капитан, — сказал Палмер. — Лобума — это не мы. Мальчишке достаточно будет на него взглянуть, чтобы рассказать всё. И я вам обещаю, что мальчика ждёт фильтрационный лагерь.

* * *

В пять утра сержант Лобума разбудил полковника палмера.

— Сэр, вы приказали докладывать независимо от времени суток, — сказал огромный негр, почтительно вытянувшись в струнку.

— Да, я слушаю, — полковник сел на раскладной кровати. — Что так долго? — он бросил взгляд на часы.

— Он молчит, сэр, — Лобума задумался и поправился: — Вернее, он кричит, но молчит.

— Молчит?! — Палмер взвился с кровати...

...Привязанный в гинекологическом кресле мальчишка внешне был не особо покалечен — разве что губы разбиты, и капитан Эндерсон как раз вытирал их бинтом. Но полковник Палмер не сомневался в том, что сержант знает дело и мальчишка, конечно, должен был расколоться...

Капитан Эндерсон бросил бинт на пол и выпрямился. Странно — на какой-то миг Палмеру стало не по себе — когда он заглянул в глаза офицера. Но Эндерсон ничего не сказал — только вышел, плечом задев замершего у входа Лобуму.

— Почему ты молчишь?! — нагнувшись, Палмер схватил мальчишку за щёки. Тот открыл глаза — мутные, невидящие. — Говори, дурак! Как только заговоришь — допрос, а потом всё прекратится и ты отправишься в лагерь! Ты будешь жить! Слышишь?! — он мотнул голову мальчишки. — Жить! Слово офицера!

— Вы не офицер, а фашист, — тихо, но отчётливо сказал мальчишка, шевеля покрытыми белой коркой губами.

— Что?! — Палмеру показалось, что он перестал понимать русский язык. — Что ты сказал?!

— Что смерть ваша — за ближайшими домами, — ответил мальчишка. — Что наши придут. И что я не буду говорить ничего.

Палмер отскочил. Тяжело дыша, посмотрел на равнодушно стоящего сержанта.

— Делай с ним, что хочешь, — сказал полковник. — Но он должен говорить. Должен. Ты понял?

— Да, сэр, — синие губы негра расплылись в улыбке. — Не сомневайтесь, сэр. Он заговорит. Я пока просто разминался...

...Выйдя из палатки, полковник услышал за спиной истошный детский крик. И увидел, что вокруг все остановились — солдаты охраны, водитель, радист за спутниковой станцией. Застыли и смотрят на палатку и на него — полковника Палмера.

— Что застыли?! — чуть ли не впервые в жизни заорал он на своих солдат. — Заниматься своими делами!!!

Люди суетливо, испуганно зашевелились.

Около штабной палатки Палмера нагнал лейтенант Хасбрук, проводивший осмотр

вещей русского. Лицо лейтенанта было растерянным и удивлённым.

— Сэр. Простите, сэр, — он достал из кармана красный треугольный платок. — Вот. Это было повязано на шее у пленного. Кажется, скаутский галстук... Странно, не так ли, сэр?

Несколько секунд Палмер смотрел на платок. Потом взял его — осторожно, словно боялся обжечься.

— Это не скаутский галстук, — сказал он. Поднял глаза на младшего офицера. — Вас плохо учили, лейтенант. Это красный галстук.

— Что это значит? — непонимающе моргнул лейтенант.

— Это значит, что всё начинается сначала, — медленно ответил Палмер. — Это значит, что мы проиграли, лейтенант.

И с этими дикими, непредставимыми словами он скомкал платок, зло швырнул его под ноги обмершему от такого признания лейтенанту и почти бегом бросился в палатку.

* * *

Это было утро четвёртого дня.

Впрочем, Димка не знал, что это утро. Не знал, что день — четвёртый. Он давно потерял счёт времени. И даже не мог увидеть, что это утро, потому что вчера днём, отчаявшись что-то сделать, сержант Лобума вырезал мальчику оба глаза.

Он шёл сам. Отбитые и обожжённые ступни почти ничего не чувствовали, но и боли почти не было — и Димка радовался этому. Он понимал, куда его ведут и зачем. И радовался и этому, потому что все три дня было очень больно и временами совсем не оставалось сил молчать. А теперь всё кончится — и он радовался этому. И тому, что промолчал — радовался. И тому, что Зидан наверняка дошёл — радовался.

И ещё он вдруг с пронзительной ясностью понял две вещи. Настолько важные, что и передать было нельзя.

Первая — что он не умрёт. Нет, не здесь не умрёт, тут всё уже было ясно. Вообще не умрёт. Он это понял совершенно точно.

И второе — что они победят. Если точнее — он понял это даже не сейчас, а вчера, когда увидел последнее, что ему было суждено увидеть в этой жизни — кровавые, бычьи глаза Лобумы, полные злобой, жестокостью и...

И страхом.

Его убьют? Да. А сколько хороших и храбрых людей — останутся жить и будут сражаться?

Вот что было важно.

И, когда ветерок коснулся чёрно-бурых от крови щёк мальчика, охранники вдруг отшатнулись, потому что русский... улыбнулся. Поднял голову к небу, словно видел, словно мог что-то видеть...

И улыбнулся опять.

Тогда капрал-латиноамериканец, командовавший расстрелом, первым разрядил в спину Димке, замершему на краю воронки, весь магазин.

Димка вытянулся вверх и выгнулся назад — как будто хотел взлететь. Чуть повернулся. И упал — мягко и бесшумно — за край воронки.

Двое других конвоиров — с круглыми от ужаса глазами, вздрагивая — стреляли сверху в лежащее внизу тело, пока и их винтовки не выхаркнули опустевшие магазины. И, закидывая за плечи оружие, почти побежали, оглядываясь, прочь от ямы, на дне которой лежал изрешечённый полусотней пуль Димка Медеведев...

* * *

— Олег Николаевич.

Надсотник проснулся мгновенно.

— Что? — он сел. — Что? Димка вернулся? Вернулся, да?!

— Нет, — Пашка покачал головой. — Перебежчик с той стороны. Американский офицер.

— Что?! — Верещагин, начавший было энергично растирать лицо ладонями, застыл. — В смысле — американец?

Пашка кивнул. Лицо у него было странное.

— Идите скорее, иначе его убьют, — попросил парнишка...

...Семь или восемь человек, толпясь вокруг чего-то, лежащего на земле, молчали. В стороне примерно столько же дружинников зло и сосредоточенно били человека.

— Дай я...

— Э-эть!

— Мужики, пустите меня, мужики, я...

— Э-эть!

— А ну!!! — заорал Верещагин. «Маузер» в его руке дважды выплюнул рыжий огонь. — А ну! Р-р-р-разошлись, ннну?! — маузер подтвердил приказ третьим выстрелом.

Дружинники расступились — с нездешними лицами, тяжело дыша. На ноги между них с трудом поднялся высокий человек — без оружия, в растерзанной штатовской форме морской пехоты, с разбитым в кровь лицом. Он стоял молча, глядя на подошедшего офицера безразличными, затекающими кровью глазами.

— Вы что, остопиз...ли?! — зловеще спросил Верещагин, не убирая пистолет и обводя дружинников зловещим неподвижным взглядом. — У вас что, в каждом кармане по два янкеса-офицера?!

— Командир, — сказал, судорожно глотая, молодой дружинник с погонами стройника, — командир, не кричи. Командир, ты погляди, что он... принёс.

— Принёс?.. — начал Верещагин. И осекся. Повернулся. Стоявшие вокруг лежащего на земле предмета бойцы молча расступились, давая дорогу.

Верещагин подошёл. Посмотрел на испятнанный тёмным брезентовый мешок. Тихо спросил:

— Димка?

— Угу, — сказал чернобородый, с серьгой в ухе кряжистый цыган из сотни Басаргина. — Отдай штатовца, командир, отдай, мы хоть душу успокоим...

— Заткнись, — приказал надсотник. Опустился на колено, отогнул край мешка. Посмотрел — спокойно, без слов, только лицо вдруг задёргалось. Успокоилось. — Дима-Дима... — тихо, почти нежно сказал он. Погладил рукой что-то слипшееся и тёмное, видневшееся в мешке.

— Они ему глаза вырезали, — сказал со злыми слезами рыжий парнишка, державший на плече РПК. — Командир, отдай янкеса, отдай, слышишь?!

— Тихо, — не приказал, а попросил Верещагин. Подошёл к офицеру и одним рывком за скрученный на груди камуфляж приподнял его по стене на полметра. — Что вы сделали? — спросил надсотник так, что все вокруг замолчали. — Что вы сделали, изверги?

Но молчание американца будто лишило его сил. Он отпустил янки и ссутулился. Американец расправил камуфляж и вдруг сказал — почти без акцента:

— Ваш мальчишка промолчал. Ничего не сказал.

— Я был учителем, — сказал Верещагин, поднимая на американца глаза. — Понимаете вы, я был учителем, я хотел всю жизнь учить таких, как он, нашей истории. Всего лишь учить их истории... — его лицо опять дёрнулось, он махнул рукой: — Уходите... — мельком глянул на погоны американца, — ...капитан. Идите, идите.

Никто не возразил. Американец снова расправил форму на груди:

— Я не буду уходить, — сказал он тихо. — Я пришёл к вам и принёс мальчика. Я трус. Я испугался его спасти. Я хотел стрелять, но я испугался. Тепер я буду с вами. Если вы меня возьмёте. Если вам не нужно труса, то пусть мне отдадут пистолет. Я не стану жить тогда.

— Верните ему оружие, — сказал Верещагин. — И проводите его ко мне, нам надо поговорить. А умереть мы все всегда успеем. Никогда не надо торопиться умирать... мы все торопимся умирать и не успеваем жить... — и надсотник пошёл по коридору.

В тишине было слышно, как он плачет — тяжело и хрипло, как будто разрывается металл...



Будущее казачества. Газета «Омск»

* * *

— Может, выпьете? — спросил Пашка, не пряча от сотника опухших от слёз глаз. — Я водку принесу. Настоящую.

— Паш, ты же знаешь, что я не пью, — покачал головой надсотник. Подумал и добавил: — Спасибо.

— А я бы выпил, — Пашка сцепил на столе пальцы. — Смешно, Олег Николаевич. Столько убитых. На каждой улице каждый день убитых детей подбирают. А я почему-то из-за него плакал. Мы с ним даже друзьями не были. Когда Сашка Коновалов погиб, я не плакал, а мы с ним с семи лет дружили... с моих семи, с его восьми. А тут взял и заплакал. Смешно, — повторил он. — Давайте я вам бутерброд сделаю. С копчёнкой. Есть копчёнка.

— Паш, не надо ничего, — поморщился Верещагин и тяжело лёг, закинув на кровать ноги в ботинках. Потёр грудь слева.

Болело сердце. Впервые в жизни — физически болело, а не фигурально выражаясь. А вдруг сдохну, испугался надсотник. Хотел спросить у Пашки — пусть принесёт корвалол. Корвалол пила мама. Боги, как она там? Конечно, девчонки её не бросят, но как она там? А если узнают, что она — мать офицера РНВ? Или Кирсанов не оккупирован? Что им там делать, маленький городок, неважный...

Боль отступила. Так же внезапно, как прошла.

— Олег, — внутрь вошёл Земцов. — Там к тебе ребята просятся.

Верещагин сел.

— Пусть идут сюда.

Почти сразу вошли — наверное, по всегдашней привычке ждали в коридоре рядом —

Влад Захаров, Пашка Бессонов, девчонка — надсотник не помнил, как её зовут, но в отряде она заправляла «женским» звеном. Встали в ряд в ногах кровати. Молча.

Офицер поднялся. И понял, что Влад — почти одного с ним роста.

— Мне... — Влад вдруг замолчал, и Верещагин подумал, что Пашка вот так же почти всегда запинался, когда волновался. А Влад — нет. — Мне скоро пятнадцать. Возьмите меня к себе. Ну, в дружину. Чтобы я не в разведку. Я не могу больше в разведку. Я всё испорчу сразу.

Надсотник понял, о чём говорит парнишка. И кивнул:

— Хорошо. Пойдёшь во вторую сотню, Земцов тебе всё объяснит. А галстук... — он помедлил. — Галстук снимешь? Ты же теперь не в отряде будешь...

На скулах Влада вспухли бугры. Он медленно покачал головой:

— Никогда.

— Хорошо, — повторил Верещагин. Посмотрел на Пашку и девчонку: — Вы не проситесь. Вас не возьму.

— Мы не за этим... — Пашка достал из сумки на поясе — школьной, обычной, какие ещё недавно носили по моде у самого колена — свернутое отрядное знамя. Надсотник узнал его — переделанное из найденного в той самой комнате, обнаруженной Димкой, старого пионерского. — Мы... вот! — и он развернул большое полотнище с потускневшей золотой бахромой на руках.

А вот буквы, вышитые по верхнему краю, сверкали свежим золотом — и Верещагин подумал, что их, наверное, вышивала именно эта девчонка...

Он посмотрел ей в лицо. И снова перевёл взгляд на золотые буквы, чуть подрагивавшие в такт дрожи Пашкиных рук:

ОТРЯД ИМЕНИ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

МЕНЯ ЗОВУТ СЕРЁЖКА

Я камень.

Я неподвижен.

Осколок гранита, обкатанный ветром и дождём. Лежит среди таких же, неотличимый от них, мёртвый, увесистый и равнодушный. Глаз на нём не остановится.

Ему всё равно.

Я камень.

Я неподвижен.

Боже скрывался под огромным обломком стены, лежавшим на остатках фундамента — эта пещерка в задней части соединялась с подвалом, откуда можно было выбраться в коллектор, выводивший на позиции 9-й интернациональной роты, на площадь Заставы. Козырьком выдававшийся над пещеркой кусок бетона затемнял её; лаз переплетала выдранная арматура, на которой ещё держались обломки и какая-то хрень. Всё это создавало эффект тюлевой занавески — даже когда солнце светило прямо в лаз, оно не могло высветить то, что внутри. А тёмных щелей в развалинах полным-полно...

...Боже положил перед собой начерченную на куске картона карточку, серую от карандашных пометок — свежих и стёртых, понятных ему одному.

Так. Позавчера ОН убил отца. Вчера ОН не стрелял. Мест, где он может находиться — шесть: водослив; дырявый забор из бетонных плит; развалины воздухозаборника; окна — первый этаж прямо напротив него, первый этаж на тринадцать часов, второй этаж на четырнадцать часов.

Водослив — триста метров. Это вряд ли, уж больно лезет в глаза это укрытие, да и солнце при заходе просвечивает почти всю трубу навывлет. Правда, там есть какая-то куча

мусора.

Забор. Много дыр. Триста метров. Когда солнце всходит, невозможно понять, что за ним, а снайпер может стрелять из каждой дыры. Но очевидцы говорят, что звук выстрела всегда как бы двойной — так бывает обычно, если стреляют из помещений.

Воздухозаборник. Триста пятьдесят метров... Вообще-то — самое подходящее место, там полно таких же щелей, как эта, в которой лежит он сам. Но уж больно подходящее. Прямо глаз режет. Вряд ли...

Первое окно. Четыреста метров. Прямо за воздухозаборником, даже видно плоховато. Но можно различить комнату, относительно целую, в которой висит тюлевая занавеска. Занавеска — это интересно. Из-за настоящих тюлевых занавесок обожают стрелять новички, это можно... но уж больно тупо. Именно для новичка. А ОН не новичок.

Второе окно. Четыреста тридцать метров. В комнате проломлена крыша, просвечивает здорово, но всё может быть. Да и мусора там полно.

И третье окно. Четыреста семьдесят метров, второй этаж. Вот там — там вполне может быть точка. Отсюда плохо видно, что происходит в этой комнате.

ОН стрелял справа. Отец был убит в правый висок на расстоянии больше километра — виртуозный выстрел. Связист — пацан-велосипедист — был убит в правый висок. В других случаях пули тоже попадали справа. Всегда — отчётливый двойной звук выстрела. Боже всмотрелся в карточку. Справа — это воздухозаборник и окна. Водослив и забор — это попадания по фронту, а не справа; в этих случаях ОН просто не мог попасть в правую сторону.

Помедлив, Боже вычеркнул на карточке эти цели. И водослив, и забор. Так. ОН мог вообще уйти. Вчера он целый день молчал. Но он и до этого молчал, случалось, по двое-трое суток.

Кроме того, Боже чувствовал: ОН здесь. Среди этих развалин — такой же камень, как сам Боже, такой же серый обломок стены, слившийся с развороченной улицей военного города.

ОН стрелял точкой триста «Винчестер магнум». «Маузер» SP66... или SR93. Может быть, даже «Супер магнум». Скорее всего, ОН не американец — «Маузеры» немецкие, супермагнум — английская, а янки не любят чужого оружия. Нет, не важно. Какая разница, какое у НЕГО оружие? Дело только в том, что точка триста «Винчестер магнум» — патрон профессионалов.

Боже взял бинокль и вновь — в сотый раз — начал осматривать подозрительные места. Тщательно. По сантиметрам, через каждые несколько минут откладывая бинокль и прикрывая глаза.

За бетонной стенкой перемещались турки — двигались тени, да и лицо какое-то появилось в одной из дыр (Боже позволил себе усмехнуться, вспомнив, как ему хотелось первое время стрелять именно в турок). Между дорогой и развалинами домов высились укрепления, за ними тоже было полно солдатни, стояла техника.

Всё это очень мало интересовало Боже. Хотя машинально отметил, что там укрепления отгроханы такие, как будто турки собирались обороняться, а не отступать.

На турецких позициях открыли огонь сразу два браунинга, и Боже насторожился. Перебивающий друг друга рёв пулемётов калибра 12,7 мм способен заглушить любые другие выстрелы, русские снайперы тоже любили стрелять под такую завесу. Уж не... Ага, получил! Боже увидел, как кувыркнулся от пулемёта один из турок. стрелял кто-то из казачьих снайперов — конечно, не так виртуозно, как (Боже мысленно гордо подбоченился), но здорово.

Потом вмешались миномёты — и уже через полминуты мир утонул в какофонии пальбы. Боже продолжал невозмутимо рассматривать позиции. Сейчас можно было надеяться только на глаза... но над площадью и улицами потянулись дымы, мешавшие и смотреть тоже.

Окна. Развалины воздухозаборника. Боже видел, как вздымаются тучи пыли. Сейчас

его злила стрельба своих. Он видел и то, как работают миномётные расчёты турок, но не обращал на них внимания. Кого-то таскали на носилках за позициями. Грохот стоял невероятный, но...

...но каким-то столь же невероятным чувством, каким-то натянутым нервом — Боже уловил этот выстрел.

Именно этот.

* * *

Полковник Кологривов сидел на ящиках из-под мин. Налившиеся кровью глаза командира дроздовцев выражали невероятную муку, на дрожащем горле верёвками натянулись жилы. Санитар, заматывая лицо офицера быстро промокающими бинтами, бормотал:

— Ну вот и всё... вот и отлично... а теперь в госпиталь... а там соберут, там хоть из кусочков соберут-ут, не волнуйтесь, потерпите ещё чуть...

В какой-то степени Кологривову повезло, если можно назвать везением одно из самых пакостных ранений — челюстное. Он лёжа наблюдал в бинокль за тем, как стреляют его пулемётчики. Прилетевшая справа пуля распорола полковнику правое запястье, раздробила нижнюю челюсть, повредив язык и вогнав в тело обломки зубов.

— Вот, — надсотник Хвощёв подал Боже окровавленную пулю. — Прошла навывлет и срикошетировала о камни. Я подобрал случайно.

— Угу, — Боже покатал пулю в грязных пальцах. — Точка триста. Справа, значит...

— Справа, — кивнул надсотник, — и прямо в цель. Пять сантиметров щель, а он попал... Слушай, — лицо офицера вдруг стало злым, он заломил на затылок вишнёвый с посеребрившими нитками когда-то белых выпушек берет, — ты собираешься его убивать, братушка херов, или просто так — мамон налёживаешь?!

Боже спокойно встал и пошёл прочь. Хвощёв догнал его, схватил за плечо:

— Я тебе вопрос задал, боец! Он ранил нашего командира!

— Приготовьтесь к тому, что это не последняя жертва, — черногорский акцент делал речь Боже, который так и не повернулся, рокочущей и странноватой. — И уберите руку, пожалуйста. Мне надо идти.

— Только и можете — корчить из себя суперменов, снайпера! — Хвощёв потряхнул не сопротивляющегося парнишку. — В конце концов, он и твоего отца убил! Делай что-нибудь — или проваливай, пусть этим займётся кто-то из наших!

— Я ваш, — Боже спокойно улыбнулся. — И вам придётся смириться со мной. А делать «что-нибудь» я не собираюсь, потому что я доложен его убить. Рисковать собой я тоже не собираюсь. Я дороже любой из ваших полусотен.

В тот же миг Хвощёв сильным ударом сшиб его с ног — и мгновенно остыл, как остывают почти все русские, поняв, что совершили что-то несправедливое. Дружинники, замершие на миг, незамедлительно постарались сделать вид, что ничего не случилось. Полковника уже отвели в тыл. Надсотник тяжело дышал, сжимал и разжимал кулаки; лицо его было растерянным.

Боже поднялся, потёр скулу и флегматично сказал:

— Ну, я пойду.

Пулю из руки он так и не выпустил.

* * *

Оболочка точки триста прорвалась, высунулся твёрдый сердечник. Боже хмыкнул — это ему вдруг напомнило член в боевом положении. Разворотила челюсть, прошла насквозь... До позиций дроздовцев было шестьсот метров. Различить на таком расстоянии через пятисантиметровую щель человека и попасть ему в голову — это больше чем

превосходно.

Окна. Развалины.

Солнце садилось — ярко-алое, задымлённое, августовское. На правом фланге шёл бой — настоящий, не перестрелка, похоже, хорваты атаковали казаков.

Этот стрелок — виртуоз.

Так. Стоп. Это кто ещё?

Трое турок пробирались через развалины метрах в ста. Двое несли разобранный «Браунинг», третий шёл впереди, озирался, держа наготове G3 с подствольником.

Этого нам совсем не надо. Если они тут усядутся, то позиция накроется.

Боже отложил бинокль к аккуратно — затвором вверх, прицел закрыт замшевым чехлом — устроенной сбоку «мосинке». Взял «Винторез», устроил его в выемке камня. Приложился — быстро и плотно, целясь в левый висок последнему турку. Чуть ниже... в левую щеку...

Выстрел. Выстрел. Выстрел.

Зря отец не любил этого оружия. В городе на короткой дистанции, да если целей много — самое то.

Ещё две или три секунды Боже смотрел на лежащие около упавшего пулемёта трупы. Осторожно откатил в щель раскалённые гильзы.

ОН видел, как погибли турки. ОН не мог не видеть. ОН сейчас наблюдает в прицел. Смотрит внимательно. Ищет. Для остальных это просто убийство — война она и есть война. Но ОН знает, что этих троих убил Боже. И знает, что Боже за ним охотится.

Окна. Развалины.

* * *

«Апач» грохнулся в середине площади, взмётывая вверх обломки, по сторонам — пыль. В бинокль Боже видел, как на казачьей баррикаде, задирая юбки, скачет и явно что-то кричит молодая женщина. Но видимость после падения упала до нуля, подходила темнота, и Боже отложил бинокль и уснул.

Он спал глубоко, бесшумно дыша, не двигаясь, но каждые три минуты открывал глаза и секунд десять-пятнадцать вслушивался и всматривался в грохочущую смесь огня и тьмы снаружи своего участка.

Перед рассветом была атака. Но турки не умели воевать в темноте, и Боже видел, как они десятками гибли в нескольких заранее устроенных казаками «огневых коридорах». Он не думал о «своих» и «чужих». Война сейчас его не касалась совершенно. Где-то впереди, метрах в четырёхстах, была цель. Вот и всё.

Глядя в бинокль, Боже ел из банки консервированные сардины, запивая водой, в которой разболтал кучу таблеток глюкозы. Вода стала противной, и он вспомнил родник над селом. Маленький, с ледяной вкусной водой, с иконой Богоматери, врезанной в камень в незапамятные времена. Мама водила его туда за руку и научила молиться, прежде чем попить. Всего несколько слов...

Вот ОН.

Человек в сером лохматом камуфляже лежал в развалинах воздухозаборника. Странно было, что Боже не заметил его раньше. Сейчас он отчётливо видел голову, плечо, спину, винтовку — английскую «Супер магнум», замаскированную лохмотьями ткани. Человек лежал совершенно неподвижно, и Боже, нашарив его висок рисков прицела, не стал стрелять.

Кукла. Будем вести себя так, словно это кукла. Может быть, это и есть кукла. Мы подождём выстрела (который будет означать чью-то смерть — конечно...) Тогда всё определится.

Триста пятьдесят метров. Боже выставил дальность. Вот так. Ветер дул по площади, он выставил и поправку. И окаменел.

Вражеский снайпер тоже был неподвижен. Он хорошо замаскировался. Боже не мог себе не признаться, что, в принципе, мог и не заметить его раньше. Может, он тут и лежал. А может — приполз сюда ночью, а до этого стрелял из окон. А что он неподвижен — скорее пошевелится кукла, чем хороший снайпер.

Лица не видно. Оно было закрыто маской, чуть колышущейся. Не факт, что от дыхания.

Со стороны казаков подал голос «Утёс». Он бил беспощадно, нудно, руша в щебень остатки бетонной стены...

Будет стрелять в пулемётчиков?

Не будет? Боже не стал бы...

Или всё-таки это кукла?

Нет?..

Да?..

Пулемёт умолк. Мухи вились над трупами убитых вчера турок — казаки обобрали их, со многих даже обувь сняли (дружинники этим брезговали), но убирать не стали, конечно, не в своём же тылу. Боже пришлось принюхиваться, чтобы различить запах гниения. Он настолько пропитал всё вокруг, что стал неразличим, а это плохо, когда так «садится» обоняние...

Я камень.

Я неподвижен.

На спине можно различить следы ожогов — отец клал туда горящие угли, а Боже лежал неподвижно и отмечал цели на карточке, хотя глаза семилетнего мальчика застилала слёзы. Потом он научился сдерживать и слёзы.

Я не умею ненавидеть. В мире нет ничего и никого, на что стоит растрачивать ненависть в эти минуты. Если бы сейчас мимо прошёл тот лётчик, который сжёг мой дом, маму и трёх сестрёнок, я бы не пошевелился.

У меня нет имени. У меня нет народа. У меня ничего нет.

У меня нет даже меня.

Выстрел!

Боже видел, как плавно, мягко дёрнулся длинный толстый ствол винтовки и качнулась голова в маске.

В следующую секунду голова дёрнулась снова — уже резко — и скользнула в сторону. А «Супер магнум» упал через камень, задравшись прикладом вверх.

Боже плавно открыл затвор «мосинки», выбрасывая стреляную гильзу...

...Последним выстрелом НАТОвского снайпера был убит на позициях дроздовцев надсотник Хвощёв.

* * *

Остаток этого дня, ночь и весь следующий день Боже Васоевич лежал в своём укрытии, с каменным терпением отслеживая происходящее. Труп и винтовка тоже лежали на своих местах, никто не приходил за ними.

И больше никто не стрелял.

Почему Боже не уходил? Едва ли он сам мог сказать точно. Но вновь и вновь вспоминалось...

Отец бросает в рот сливу.

Ягода щёлкает во рту.

«Я его убил.»

Выстрел.

Отец падает.

Слива.

«Я его убил.»

«Я его убил.»

Отец ждал восемнадцать часов после своего попадания. Отец — человек, с 1991 года убивший 297 врагов. В основном — таких же снайперов, как он сам. Он не мог обмануться, что попал. Он тоже видел труп. 298-го.

Снайпер был не один?

Может быть, Боже убил второго?

Он ждал уже двадцать девять часов...

...Казачий сотник за стереотрубой был виден Боже боком. Со стороны позиций турок его не видели вообще.

Что такое? Откуда это... беспокойство? Боже повернулся в сторону врага. Что, что такое?.. Сейчас что-то...

Выстрел!..

...Командир 17-й кубанской сотни Федько был убит с дьявольской точностью. Определив его местонахождение по блеску стереотрубы, снайпер вогнал пулю в бруствер, пробил мешок с песком, низ трубы, линзы и левый глаз сотника.

Боже увидел этот выстрел. Потому что почувствовал его заранее.

Вооружённый «Супер магнумом» вражеский снайпер лежал в полудесятке шагов от того, первого — под каменной плитой. Боже видел его ствол и край маски.

Боже не выстрелил.

Потому что не понял врага.

Снайпер никогда не придёт стрелять туда, где до него погиб другой. Это значит, что позиция «засвечена».

Он сумасшедший?

Нет, не похоже. Выстрел был виртуозным.

Снова — виртуозным.

А сколько их вообще? Три? Два? Или... один?

Боже вгляделся в труп.

Нет мух. Возле трупа, пролежавшего на жаре начала августа почти тридцать часов, нет мух.

Кукла. Но он же видел, видел — эта кукла стреляла!!!

Труп вынесли ночью, на его место положила куклу?

Зачем?

Ничего не понимаю.

А это — ПЛОХО.

Но одно Боже понимал отчётливо.

Сейчас он не охотник. Сейчас он — дичь.

* * *

— За последние шесть дней — пять убитых и двое раненых офицеров! Ты же говорил, что убил его!

— Отец тоже это говорил, — Боже встал. — Но думаю, ни он, ни я его не убили.

— Что это значит? — генерал-лейтенант Ромашов с ног до головы оглядел черногорского мальчишку. От Боже пахло потом, мочой, трупным гниением, лицо было чёрным и осунувшимся, но серые глаза смотрели спокойно и твёрдо. — Он так перебьёт всех офицеров во 2-м Кубанском и у дроздовцев. Ты это понимаешь?

— Я понимаю, — Боже кивнул. — Он один. И он очень хитрый. Но сегодня всё кончится. Я его убью — или он убьёт меня. Знаете, мне нужна большая бутылка кетчупа. И манекен из магазина.

* * *

Вытряхнув последние капли «Острого», Боже закрыл голову манекена, приладил парик, надвинул на равнодушное лицо маску. Устроил в подогнутых руках отцовский «Маузер», выверил наводку и, плавно выдвинув манекен на свою позицию, лёг чуть сбоку и сзади. Натянул тросик, привязанный к спуску.

Зачем я эту ерунду делаю? Боже чуть поправил манекен и, глядя в прицел своей винтовки, плавно и сильно потянул тросик.

Выстрел! Боже видел, как сорвало маску с лежащего под плитой НАТОвца... но это было совершенно несущественно, потому что в следующую секунду раздался ответный выстрел — и Боже забрызгало кетчупом из расколовшейся головы манекена.

Он поднял руку и, неспешно вытерев лицо, посмотрел на размазанные алые полосы.

Манекен был «убит» убитым за миг за этого снайпером.

В следующие несколько секунд в голове Боже было пусто-пусто. Он вообще не понимал происходящего.

Потом он схватил бинокль. И уже через несколько минут нашёл то, о чём подумал.

Тоненький, но различимый проводок змеился от домов к развалинам, в которых Боже уложил двоих снайперов.

Только... никого он не уложил.

Спектакль. Гениальный по задумке и хладнокровию исполнения.

Вот как погиб отец. Он поверил собственным глазам. Сделал то, чего нельзя делать. Слишком мало выждал.

Боже оказался удачливей — потому что ждал дольше. И начал сомневаться в том, что видел. А потом решил перестраховаться дурацкой куклой с кетчупом вместо мозгов — и сберёт свои собственные.

Видимо ТОТ тоже очень хотел убить черногорца.

Не было ни двух, ни трёх снайперов в развалинах.

Были куклы, которые там выставляли ночью.

Не было выстрелов из развалин. Вернее — были, но неприцельные, в сторону русских.

А на самом деле стреляли через развалины. Из того самого окна за ними, в четырёхстах метрах. Виртуозные выстрелы!!!

И был провод электроспуска, соединявшего винтовку в руках куклы с винтовкой в руках снайпера.

Вот откуда эффект «двойного» выстрела!

Два, а не двойной.

Снайпер стреляет через развалины — прицельно. Но одновременно стреляет и кукла — наудачу! И те, кто отслеживает снайпера, видят куклу.

Куклу, которая стреляет. Они стреляют в ответ. «Убивают». Докладывают.

А снайпер жив. И продолжает своё дело. Ему плевать, скольких его кукол запишут на свои счета снайпера обороняющихся.

Но сейчас — сейчас он сам на крючке. Потому что он видел, как убил Боже. И наверняка видит винтовку, торчащую из трещины, и окровавленную голову за ней, на которую уже летят мухи. Они любят кетчуп...

Только одно окно. С нелепой занавеской, из-за которой давно стреляют только новички. С такой нелепой, что хочется усмехнуться и отвернуться от неё.

Боже выставил дальность прицела и замер в ожидании...

...Чучело появилось ночью. Боже усмехнулся про себя. На казачьих позициях кто-то играл на гармошке.

Сейчас ОН должен отметить... есть!

Одна из складок на шторке разошлась и оказалась разрезом. В нём появился длинный массивный ствол. Качнулся и замер.

Боже нажал спуск...

...Единственное, чего он не мог теперь — уйти, не посмотрев. Боже знал, что это глупость. Но он не мог. Просто — НЕ МОГ. Он должен был пробраться туда и глянуть —

кто? Какой он?

Отец бы понял.

Бережно отложив «мосинку», Боже проверил себя. четыре РГД-5, старый «Вальтер» в открытой кобуре с запасным магазином. «Бебут» в ножнах у правого бедра. «Винторез» с тремя запасными магазинам.

Он выждал ещё. Снял и отложил к винтовке бинокль. И начал выбираться из укрытия.

* * *

В подъезде лежала каска. Пахло трупами. Боже остановился, прислушиваясь, пригнувшись, вглядываясь.

Никого. Тут нет никого живого. А вон — та дверь, за которой комната с тюлевой занавеской.

Он сделал ещё два шага — и почувствовал, как под левой ногой порвался проводок.

Прыгая назад изо всех сил и понимая, что не успевает, Боже не испугался, не удивился, не испытал вообще никаких чувств. Только досаду. Досаду на свою глупость.

Взрыва «элси», которой снайпер прикрыл подход к себе с тыла, он уже не услышал.

* * *

Первое, что Боже увидел над собой, был потолок какой-то комнаты — сложенный из серых плит, в отблесках костра.

Первое, что он подумал: «Плен.»

Раз он жив, но не лежит на камнях снаружи, а лежит в каком-то помещении — значит, это может быть только плен. Его подобрала враги и перетащили куда-то.

Он попытался пошевелиться, но наплыла такая дурнота, такая слабость, что Боже бессильно обмяк и прикрыл глаза, собираясь с силами.

Он хорошо себе представлял, что с ним сделают. Сперва ему отрежут указательные пальцы. Обязательно. Потом — по одному кусочку за каждую метку на прикладе «мосинки». (Ах да, «мосинка» осталась на лёжке. Но и на «винторезе» кое-что есть...) Потом... потом — что-то ещё придумают. Долгое и сложное, конечно.

Ему не было страшно, хотя он очень ярко представит себе всё это. Что ж. Значит, так будет. Его предкам турки выдумывали самые мучительные казни, потому что боялись отважных гайдуков. Это честь — умереть в муках, тем самым он станет ближе к сонму героев прежних веков. Надо только принять смерть достойно.

Боже попытался вспомнить молитву, но не смог. Зато на ум пришли с детства знакомые строки «Небесной литургии»:

...Због ко?их си на крсту висии; Али тво?а?убав све покрива, Из?убави незнани?е?ав?аш, Из?убави ти о знаном питаш, Да ти кажем што ти бо?е знадеш...

Дальше он прошептал вслух — зачем прятаться, пусть видят, что он очнулся — а как молитва это ничем не хуже любой другой, церковной:

— Нису Срби кано што су били. Лоши?и су него пред Косовом, На зло су се свако изм?енили...

— Очнулся? — услышал он тихий — вернее, приглушённый — но звонкий голос. И удивлённо повернул голову — всё-таки сумел, хотя в ней перекатывался жидкий шар, смешанный из горячей ртути и боли.

Комната, в которой он находился, была небольшой, без окон — подвал или погреб... Костёр горел у дальней стены, под поблёскивающей решёткой вентиляции, прямо на полу, но между нескольких кирпичей, образовывавших примитивный и надёжный очаг; на огне — там горели не дрова, а большие пластины сухого горючего — булькали два котелка. На большом толстом листе пенорезины лежали несколько одеял. Рядом — два больших ящика, с чем — не поймёшь. На одном — две ручных гранаты, вроде бы американские, пистолет в

маскировочной кобуре, пустые ножны от ножа, бинокль с длинными блендами. К другому был прислонен короткий М4 «Кольт» с барабанным магазином на 50 патронов. По другую сторону костра стоял на тонких ножках десантный М249 со свисающей лентой. Его частично закрывала наброшенная серо-чёрно-зелёно-жёлто-коричневая бесформенная масса, вроде бы — накидка, похожая на накидку самого Боже.

Почему-то всё это Боже увидел раньше, чем самого хозяина подвала. Может быть — потому что хозяина пока ещё трудно было заметить, тем более — сидящим на корточках. Ему — хозяину — было лет 10–12. Не больше. И он смотрел на Боже с улыбкой.

Это был мальчишка. Боже сперва не поверил — мальчишка действительно на 4–5 лет младше его самого, да ещё вдобавок то ли тощий от природы, то ли здорово похудевший. Лохматый — волосы, чтоб не мешали, он просто перетянул полоской маскировочной ткани, и они завивались вполне грязными прядями на ушах, висках и шее. Курносый, глаза светлые. (Вообще-то таких мальчишек Боже повидал тут десятки. То, что среди русских мало черноволосых, казалось ему сперва даже немного неприятным. Потом привык... Так вот этот — этот был типичным русским.) Пухлые губы, физиономия весьма самостоятельная и довольно чумазая. Но улыбался он искренне и немного смущённо. А одет был в пятнистую майку, такие же брюки (по росту) и неопознаваемого цвета кроссовки — обувь стояла возле огня.

— Где я? — вспомнил Боже русский язык. Покосился — его оружие и снаряжение лежали в ногах такого же, как возле огня, листа пенорезины — а сам он лежал на этом листе. И тоже на одеялах. Нет, точно не плен. От облегчения заломило виски, перед глазами поплыл цветной переливающийся занавес. Но где он? Русские даже в худшие времена таких маленьких, как этот явно по-хозяйски обосновавшийся тут пацан, не брали ни в ополчение, ни, тем более, в дружины РНВ. Да таких даже у пионеров «на линию» не пускают!

Русский мальчишка пожал плечами. Помешал ножом, который держал в руке, в одном из котелков.

— У меня, — ответил он. — Да ты не бойся, тут безопасно.

— Я не боюсь, — сказал Боже. — Что со мной было? Я подорвался... а дальше?

— Ты подорвался, а я тебя подобрал и стащил сюда, — мальчишка повёл вокруг рукой с ножом. — Я сперва думал, что ты шахматист.

— Кто? — Боже показалось, что он опять перестаёт понимать происходящее... или русский язык по крайней мере.

— Хорват, — мальчишка нарисовал на стене клеточки усташского флага. — Ты по-ихнему говорил.

— У нас один язык... — угрюмо ответил Боже. — Я черногорец. Из... в общем, я за русских.

— Я понял, — кивнул мальчишка. — Потом.

— Да кто ты? — почти умоляюще спросил Боже.

— Меня зовут Серёжка, — просто сказал мальчишка.



Учись, сын!!! Клуб "Оберег"

EDUCATION OF NATO

Темнота была полна шумом — постоянным и слитным.

Темноту то и дело рассекали световые мечи с вышек — длинные, плотные, белые. Временами они опускались, освещая море людских голов, до дикой странности похожее на бесконечное кочковатое болото. Жестяной голос, множившийся в расставленных по периметру фильтрационного лагеря N 5, повторял снова и снова:

— Просим сохранять спокойствие ради вашей же безопасности! Пребывание в лагере не будет долгим! В пытающихся покинуть территорию лагеря охрана будет стрелять на поражение! Администрация лагеря выражает надежду, что ваше пребывание у нас будет приятным!

Господи, чушь какая, тоскливо подумал Юрка, глядя в землю между ног. Поднимать голову не хотелось. Если честно, не очень хотелось и жить. Еще больше не хотелось слушать то, что творилось вокруг.

Кто-то стонал. Кто-то плакал. Кто-то истерически хохотал. Кто-то, ухитрившись заснуть, раздражающе храпел. Но больше всего доставал Юрку сосед слева — молодой мужик в грязной растерзанной форме лейтенанта танковых войск. Держась обеими руками за голову, он раскачивался по кругу и говорил:

— Как они нас... ой как они нас... господи боже, как они нас... ведь ничего не осталось... ой как они нас...

Больше всего Юрке хотелось, чтобы лейтенант заткнулся. Но, слушая его бесконечный горячечный бред, парень вдруг поймал себя на мысли, что ему тоже хочется простонать: «Ой как они нас...»

* * *

День светлый был, как назло. Поле с высоким травостоем. И они в этом поле... «Апачи» по головам ходили. (Вот когда впору было молиться, да где там — изо всего целиком только «мама!» и вспоминалось. Укрыться негде, негде спрятаться. Падаешь в хлеб, а он от винтов расступается, волнами ложится, открывает... Колосья к земле гнутся, словно им тоже страшно. Кричишь — себя не слышно. (Воют винты, да НУРСы шипят. День был в том поле, а для них — всё равно что ночь...

Батяня мечется по полю, того ботинком, другого... Юрке тоже досталось — в бок прямо, с размаху. Орёт Батяня: «Встать! Огонь!» А какой огонь, из чего — в отряде не то что «стрелы» нет, заваливших гранатомётов не осталось, все полегли на госдороге, когда колонну

раскромсали... Из автомата в вертолёт стрелять? Земля сыплется в лицо, за ворот, слышно, как снаряды хлюпают, не свистят, хлюпают именно, землю фонтанами подбрасывают... Потом словно дождём брызнуло сверху. Развернулся — а на нём чья-то нога лежит, по самое бедро оторванная, и кость блестит розовым, а в колене нога — дёрг, дёрг...

Многие стреляют всё-таки, на спину перевернулись или с колена палят... А вертушки ходят кругами, ныряют — нырнут, и ошмётки то от одного, то от другого... Юрка выл, лежал и выл, от трусости своей, от страха, который встать не даёт, от жалости — тех, с кем он уже вот две недели сухари делил, в клочья разносит прямо на глазах, а как помочь?... Батяня как бешеный стал, глаза белые, на губах — пена... Кричит, поднимает — страшно, сейчас стрелять начнёт. Кричит, а вставать ещё страшнее...

Попали в него. Осколками НУРСа попали, лежит он, бедро зажал, грудь справа зажал, а между пальцев — струйки, и пальцы — как лакированные, красиво почти... Вот тут Юрку подняло. Не думал он ни о каком героизме, не думал о «сам погибай, а товарища выручай»... Просто... ну, не объяснишь это. Командир он и есть командир. Учил, насмехался, интересные истории рассказывал про свою жизнь, про семью вспоминал, которая под Воронежем пропала... Сердитый и справедливый. Командир и старший друг... Как тут бросить? Юрка его подцепил под мышку, поволок к кустам, а он без сознания, сам тяжелый, снаряжение тяжелое, руку отрываются, ноги скользят по траве, а вертушки зудят и лупят, лупят... Сто раз умирал Юрка, но командира не бросил. В слезах, в соплях, в голос орал — но волок, волок...

Наверное, его бы и убили, не протащил бы он Батяню эти проклятые триста метров... Но ведь не один был он на этом поле чертовом. То ли другие только сейчас заметили, что командир ранен, то ли стыдно стало смотреть, как мальчишка почти надрывается — но только подскочили сразу двое, Перехватили, потащили истекающее кровью тело командира. Юрка оружие его подхватил, следом побежал. Бежать спало не так страшно, как месте оставаться...

Командира оставили у... у надёжного человека с ещё двумя, тоже «тяжёлыми», а сами пошли. Куда? Просто так пошли, и все, никуда. Юрка, да еще трое оставались. Остальных то ли убило, то ли разбежались просто... И Светка пропала куда-то. Он по ночам зубами скрипел — от тоски, от злости, от ненависти. От того, что больше её не увидит. Страха уже не осталось, выгорел весь страх на том поле...

Взяли Юрку на просёлочной дороге, когда он шагал в деревню, посмотреть, нет ли еды у местных. Вывалились из кустов втроём, а как же — не одиночку же на полуголодного шестнадцатилетнего парнишку идти... Хорошо ещё, не было при нём ни оружия, ни даже формы — так, сбродная одежда, такую кто угодно может носить. Иначе расстреляли бы на месте, точно.

Вот только иногда думалось: может, лучше бы, чтоб расстреляли...

А потом пришло равнодушие.

Он уже знал, что из фильтрационного лагеря его не сегодня-завтра переведут в лагерь для несовершеннолетних — под Воронежские Грязи.

Ну и пусть.

— Как они нас... как они нас так... господи боже, как они нас... всё кончено, господи боже... ой как они нас... — шептал и шептал лейтенант.

* * *

Двенадцать метров — это очень много. С разбегу не перепрыгнешь, как раз приземлишься на колючку. И тут какой разбег, если полоса от самой стены. Влезть на барак? По крыше не разбежишься, она сильно в обратную сторону покатающаяся...

...- Задержанный номер восемь на месте!..

...До чего же холодно босиком стоять... Вообще-то эти сволочи все рассчитали точно. Всех делов-то: отнять обувь, а вокруг барakov настелить сплошняком колючую проволоку и

густо набросать битые бутылки. Бараки — квадратом, в центр — вышку с пулемётами на четыре стороны. Пусть бегут, кто хочет. Как раз ноги оставит...

...- Задержанный номер одиннадцать на месте!..

А бежать надо, надо бежать... И не в каком-то долге дело. А просто — сравнивать ему не с чем, он про концлагеря только от Олега Николаевича в школе слышал, но это концлагерь. Хуже любого немецкого, про которые ещё и кино показывали. Неужели это и правда было — кино, дискотеки, Светка? И невозможно было поверить в войну... Как сейчас невозможно поверить в то, что может быть мир. В то, что мама с Никиткой жили... Это-то и опасно — поверить, что такая жизнь — навсегда, смириться. Они только этого и ждут... А ведь он и так почти сломался в фильтрационке...

— Задержанный номер двадцать два на месте!..

...«Задержанные». Не военнопленные, а задержанные. Ну, правильно, несовершеннолетний военнопленным быть не может. А задержанным — сколько угодно, хоть помри. Задержанному можно и пластиковый мешок на голову напялить, и одноразовые наручники (от которых кожа слезает лохмотьями) на запястьях затянуть. Для него Женевские Конвенции не писаны... Что там училка в школе про гуманное обращение говорила? Посмотрела бы она сейчас на такое вот «обращение». Тысяча мальчишек и девчонок, младшим семь (с этого возраста можно взять у родителей), старшим семнадцать, двумя квадратами стоят босиком ни ноябрьском асфальте и откликаются по номерам, без имён...

— Задержанный номер двадцать восемь на месте!..

До чего же паскудно... Раньше думал: разные там честь, достоинство — выдумка всё это, из книжек. К партизанам прибил, потому что один остался. А больно бывает, когда бьют... А оказывается, когда вот так: унижают — в сто раз сильнее, в тыщу! И ничего не сделать, ничего не противопоставить... С отчаянья молиться пробовал — не помогает... Молиться — смешно... Батяня в бога не верил, хотя и не запрещал никому... Он говорил, что человек сам свою судьбу решает. Хочется верить. Очень больно, а как жить, если об тебя ноги вытирают походя... Если то и дело кого-то увозят, и не скрывают — куда. «На исследования», «на лечение», «на усыновление»... И ты должен быть благодарен администрации ООН за заботу, за то, что тебя спасут из этой варварской страны...

— Задержанный номер сорок три на месте!..

...Задержанный номер сорок три — это он, Юрка Климов, шестнадцать лет, из партизанского отряда Батяни. Только он назвался Сашкой Зиминим. Просто так, что в голову пришло, чтобы себя не выдавать...

— Задержанный номер сорок девять на месте!..

Сорок девятый — это Вовка Артемьев, один из тех двух, на которых он, Юрка, «глаз положил». А, может, и не Вовка он и не Артемьев, да это и не важно — парень молчаливый, надёжный, вроде бы, тоже в партизанах успел побывать. Он и не распространялся он про это... Тут такие разговоры — верная гибель. Увезут и галоперидол колоть будут, а там — все, дорога только на грядку, в овощи...

— Задержанный номер шестьдесят пять на месте!..

...А вот ещё один вроде бы подходящий парень. Сынок «нового русского», «олигарха из средних», папашу которого янки шантажировали сыном. Когда из папаши выкачали все деньги, то его просто шлёпнули (совершенно недемократично), а сына сунули сюда. Славка Штауб — яркое подтверждение того, что у отцов-сволочей (а папочка его, как ни суди, был сволочь) вырастают иной раз хорошие дети. Хотя, может, он стал таким именно под влиянием «хорошей жизни» здесь?

— Задержанный номер семьдесят на месте!..

...Надо же. Откликнулся. Юрка чуть повернул голову. Этот мальчишка — не старше 12 лет, а то и младше — появился в лагере вообще-то четыре дня назад и попал в Юркин барак, но Юрка о нём ничего не знал. Просто потому, что буквально через час после прибытия, когда проверяли на предмет вшей (весь этот час мальчишка просидел на нарах, уткнув висок в поднятые к лицу колени и глядя в стену — ни с кем не разговаривал и на вопросы не

отвечал; а место его оказалось как раз рядом с Юркой), он отмочил фокус. Юрка сам ненавидел эти осмотры — потому что проводивший их врач на русском языке отпускал оскорбительные замечания о русских свиньях, грязных тварях и прочем. Но терпел. А новенький мальчишка, как только врач взялся за его волосы, вдруг сделал неуловимое движение головой — и... и врач взвыл, а потом тоненько заверещал под одобрительный хохот барака. Мелкий буквально повис на его руке, как бультерьер — вцепившись зубами в запястье. Охрана с трудом оторвала его от верещащего врача (запястье оказалось пожёвано капитально) и утащила в карцер. А тут вот — объявился. Правда, с разбитым в кровь лицом и, кажется, поумневший. Может, и жаль...

...Очень много это — двенадцать метров. Не перепрыгнуть. Никак.

* * *

В бараке было темно.

Юрка лежал с открытыми глазами, глядя в тёмный пластик нар второго яруса.

Он слушал. Он не знал, кто это поёт, но кто-то пел в темноте и стонущей тишине барака — пел без сопровождения, ломким мальчишеским голосом. И строки песни были такими, что никто не кричал, не просил заткнуться — как это почти всегда было даже при тихих ночных разговорах. И это было тем более странно и даже дико, что ещё месяц назад никто — ну, почти никто! — из этих мальчишек, запертых в бараке на оккупированной земле, не стал бы слушать такую песню...

— Где ты, Родина,
Русых кос веню, материнское молоко,
Колокольный звон, в борозде зерно,
Сосны старые над Окой?

Где ты, Родина?
Ветер вздохами разговляется в тишине.
Труп твой высмеян скоморохами,
Имя продано сатане.

Тьму могильную не смогла заря
Солнцем vykpeстить на куски.
Кто убил тебя, ясноглазая,
Да не дал отпеть по-людски?

Онемевшие кривы звонницы,
Нелюдь празднует — пир горой...
Нету Родины, мертвы вольницы,
Братья почили в дёрн сырой.

Юрка сжал веки. Сжал так, что заломило глаза. И почувствовал, как по щекам щекотно и горячо текут слёзы...

— Или с выселок тянет копотью,
Иль чумные костры горят?
Да стремниною далеко ладью
За моря несёт, за моря...⁴

⁴ Стихи Ю. Онищенко.

— Неужели — всё?! — простонал, сам того не ожидая, Юрка. И услышал слева шёпот — тихий и горячий:

— Тебя ведь Юрка зовут?

Юрка узнал голос новенького — ну да, кто ещё мог отсюда спрашивать? Но отвечать не стал. Во-первых — понял, что младший слышал, как он плачет. А во-вторых... во-вторых — пришёл страх. А если... ведь Юрка знал, что в каждом бараке есть провокаторы и доносчики. И не по одному.

— Ты ведь Юрка? — настойчиво шептал мальчишка. — Я знаю, про что ты думаешь... я не обижаюсь, но я не стукач, правда...

Смешно.

Смешно, но Юрка поверил этому настойчивому, немного обиженному, сбивающемуся голосу. И повернулся лицом в его сторону.

— Что ты хотел?

* * *

До одиннадцати лет Серёжка Ларионов был уверен, что жизнь — штука хорошая.

Нет, в ней могло быть разное. Могли отлупить в драке. Могли случиться неприятности с уроками, после которых не хочется идти домой. Могло стать страшно ночью в комнате. Наконец, взрослые часто говорили о каких-то проблемах — не очень понятных Серёжке, но, конечно, реальных.

Но жизнь была штукой хорошей, несомненно. И папка — майор гарнизонной комендатуры, бывший десантник, переведшийся в Воронеж, чтобы не мотаться по стране с Серёжкой и только-только родившейся Катькой, младшей сестричкой, так и говорил, поднимая сына к потолку квартиры — когда возвращался со службы: «Хорошая штука жизнь, а, Серёга?!» И Серёжка со смехом кивал из-под потолка, потому что иначе быть не могло. В жизни были интересные книжки, интересные фильмы, друзья по секции бокса, школа (не такое уж плохое место), самые лучшие на свете мама с папой... ну и даже Катька, что уж...

Он понял, что — могло. Могло быть иначе. Но не тогда, когда отец буквально забросил их в кузов комендатурской ГАЗ-66 и, крикнув маме: «Не смейте искать, сидите в сторожке!» — побежал куда-то тяжёлой ровной побегой, и мама заплакала, и Катька заревела, и Серёжка... а, что скрывать... Нет, не тогда. И не тогда, когда они в шумной, перепуганной, мечущейся колонне беженцев кое-как ехали — а потом, когда стало невозможно проехать, шли — по дороге на северо-восток. Нет, ещё не тогда.

Но потом налетели похожие на чёрные кресты машины.

Серёжка не любил это вспоминать. Они остались живы, потому что мама спрыгнула с дочкой в глубокую канаву, сдёрнула замершего на краю с открытым ртом сына — и притиснула детей к откосу, закрыв собой.

Вот так для Серёжки началась война, которая шла до этого уже несколько дней, но которой он не понимал и в которую не мог поверить, потому что происходящее в книгах и фильмах не может произойти в жизни.

Когда они вылезли из канавы — засыпанные землёй, оглушённые — мама тихо охнула и прижала к себе лицо Катьки. А Серёжка увидел. Увидел, что нет больше колонны беженцев. Горели машины — чёрным пламенем. Лежали сотни мёртвых людей — на дороге, по сторонам... А у самых ног Серёжки дымилась оторванная человеческая голова.

Потом они шли. Шли несколько дней, и все эти дни Серёжка — усталый, голодный, измученный — упрямо верил, что вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас... Вот сейчас будут наши. Наши, не может же не быть их — наших, не могли никуда пропасть все те люди, которых показывали в новостях, в кино, которое любил Серёжка — «Тайна „Волчьей пасти“», «Грозные ворота», «Прорыв», «Атаман»... Они придут (и с ними придёт папка,

конечно придёт!) и заставят заплатить тех гадов, которые сидели в чёрных машинах, похожих на кресты, зачеркнувших небо — и прошлую жизнь.

Так должно, должно было случиться! Потому что — ну потому что ведь не могут наши не победить! А враги... врагов себе Серёжка не представлял даже. То ли орки, то ли фашисты... и в любом случае — отец их победит!

Но наших не было. Была искалеченная, забитая растерянными людьми дорога. А потом — когда до цели уже оставалось недалеко — впереди Серёжка увидел идущие машины.

Их было много. Пятнистые, они шли по две в ряд, и люди разбегались с дороги. Огромные, бесчисленные, эти машины пожирали мир, как Лангольеры из книги писателя Кинга.

Тогда колонна прошла мимо. Но Серёжка, стоявший на обочине, видел даже цвет глаз сидящих наверху рослых уверенных солдат в серо-зелёно-коричневой форме, громоздкой, жутковатой броне, видел темные блики, на их оружии, таком же чужом, какими чужими были на светлой, солнечной лесной дороге врезавшиеся в теплый летний русский полдень и эти машины, и эти смеющиеся люди... Во всём увиденном была неправильность, страшная и наглая — в их молотящих жвачку челюстях (Серёжка и сам любил её пожевать), в задранных на каски большие очках, в том туристском выражении, с которым они посматривали по сторонам. Даже не хозяйском, а именно — туристском. Они пришли сюда не отобрать у русских землю, а испакостить её, посмеяться над ней — и покатить дальше на своих угловатых высоких машинах.

И кто-то из них кинул Серёжке — к тем самым ногам, возле которых за три дня до этого лежала человеческая голова — шоколадку со знакомой надписью «Марс».

И это было ужасно, хотя Серёжка не взялся бы объяснить — почему. Тогда он просто сжал кулаки и долго смотрел вслед последней машине — без мыслей и без слов.

В тот вечер они заночевали возле дороги, как и раньше. Серёжка проснулся за полночь, потому что кругом кричали и метались люди, светили прожектора, раздавались выстрелы... Мама затащила их с Катькой поглубже в густые кусты. Кого-то схватили прямо рядом с кустами, опять стреляли. Кричали дети, ревели моторы на шоссе, и всё было, как в страшном сне.

Потом кто-то, ругаясь на полупонятном языке, стал раздвигать кусты, где прятались Ларионовы. Серёжка ощутил, как сжалась и обмерла мама — и понял, именно в этот момент понял, что она сейчас не защита ни ему, ни Катьке. А... кто защита? Папка?

И тогда Серёжка шепнул маме: «Сидите тихо, понятно?!» — как будто она была младше его. А сам метнулся в сторону — так, чтобы побольше шуметь.

Мальчишку схватили сразу. Бросили наземь, и он увидел возле своего лица — не дальше руки — чёрный зрачок автомата. «Калашникова», но не такого, какой не раз видел и из какого даже стрелял Серёжка. На стволе играли блики какого-то близкого пожара. Рослый человек с закопченным лицом что-то полупонятно спросил. Подошли ещё несколько — смеющиеся, с клетчатými значками на рукавах. И один аккуратно нанизывал на тонкую леску... человеческие уши.

Кто-то спросил Серёжку:

— Кто ты ест?

Ему было страшно. Ему было очень страшно. Но, поднявшись на ноги, мальчишка ответил:

— Сергей, — почти спокойным голосом. Краем глаза он видел, что в кусты больше никто не суётся — и это было главное... — Ларионов. Сергей.

— Ты ест мертвяк, — засмеялся тот, с ушами. А тот, что сбил мальчишку наземь, приставил к голове Серёжки свой автомат и крикнул:

— Айде, моля код жиче!

— Проси жит, — сказал тот, со страшным ожерельем. — Просит что хочеш жит.

— Реко се — моля! — озлобленно рыкнул целящийся в Серёжку. И мальчишка увидел,

что палец его играет на курке, как заведённый. — Моля, сука православска!

— Нет, — сказал Серёжа.

Он сам не знал, почему так сказал. И хотел только одного — ну лишь бы мама... и Катя... И ещё знал, что папка — папка его поймёт.

— Моля!!! — взревел целившийся в него. Ударом приклада в спину сбил охнувшего мальчишку наземь, наступил ногой на грудь и приставил ствол ко лбу. — Моля, а?!

— Стоймо! — повелительно окликнул кто-то. Автомат отодвинулся, но его хозяин ещё дёрнул стволом и выкрикнул, пугая мальчишку:

— Пуц!

И засмеялся. Они все засмеялись. А подошедший офицер — у него были звёздочки на погонах — спросил:

— Ты ест кто, мали? Где ест мамо?

— Не знаю, — тихо сказал Серёжка, вставая. Спина болела, кожа на лбу была рассечена стволом, по лицу текла кровь. Офицер поморщился:

— Кто ест ойце?

И тогда Серёжка сказал — по-прежнему тихо, но упрямо:

— Мой отец — русский офицер.

Может быть — и даже наверняка — он зря это сказал (хотя именно эти слова и спасли ему жизнь). Но ему хотелось, чтобы эти существа, похожие на людей и даже говорившие на полужнакомом языке, поняли — на свете есть русские офицеры. И самому ему, Серёжке, нужно было укрепиться в этой мысли, потому что она значила одно — ещё не всё пропало...

* * *

— Моя мама тоже погибла во время бомбёжки, — сказал Юрка. Он уже много лет не называл мать «мамой», а тут — назвал, и прозвучало это совершенно естественно. — Мама и Никитка... мой братишка. Сводный, но как настоящий. Ему столько же было, сколько тебе... Они выбирались из Кирсанова, это город такой в Тамбовской области. Я был в спортлагере... я боксом занимался, ну и поехал...

— Я тоже! — обрадовался Серёжка, но осекся и вздохнул: — Извини... Я слушаю.

— Да... В общем, когда всё это началось, руководители нас бросили. Удрали.

— Вот сволочи! — почти выкрикнул Серёжка.

— Ну... — Юрка хотел сказать, что они думали о своих семьях, но потом искренне согласился: — Да. Сволочи. Ну, мы добирались, кто как мог. Я сейчас думаю — наверное, надо было вместе держаться. А тогда просто разбежались. Ну вот. И я прямо около дороги нашёл их могилу. Крест, табличка из фанерки, и на ней приписано ниже: «Юрка, если найдёшь это, добирайся в Воронеж, я там!» Это мой отчим написал... понимал, что я так и так буду по этой дороге возвращаться... Он хороший мужик. Ну, я поревел, конечно... — Серёжка сочувственно сопел в темноте, и от этого сопения признаваться было не стыдно. — И пошёл. Но не дошёл, встретил партизан Батяни. Он был раньше офицером, а тут собрал отряд, и мы в воронежских лесах партизанили. Только недолго, — со вздохом признался Юрка. — Нас выследили беспилотниками, потом накрыли десантами, вертушками... выгнали на открытое место, как начали долбать... — Юрка передёрнулся от снова накатившего ужаса. — Только пятеро и уцелели. Батяню ранило, мы его на одном там кордоне спрятали. А сами пошли обратно в лес. Тогда я и попался — за едой ходил, в деревню. Хорошо ещё, решили, что я просто бродяжка...

— Тебе хорошо, — вдруг сказал Серёжка. Юрка недоумённо приподнялся на локте, пытаясь разглядеть в темноте, не шутит ли мальчишка. но увидел только блеск глаз и услышал, как Серёжка повторил: — Тебе хорошо. Ты воевал. А я только прятался.

— Я бы, наверное, не смог, как ты, — возразил Юрка. — Думаешь, воевать — это самое сложное? Я был в фильтрационном лагере... оттуда, наверное, можно было бы сбежать, там такая неразбериха была... А я обмер. Сидел и ничего не делал... — и

неожиданно для самого себя спросил у младшего — так, словно тот был командиром: — И что ты собираешься делать теперь?

— Бежать, — твёрдо ответил Серёжка. Так ответил, что у Юрки не осталось сомнений в том, что младший мальчишка говорит искренне. — Бежать и воевать.

— Воевать? — в голосе Юрки прозвучала ирония (он сам этого не хотел, но прозвучала, уж больно смешно и претенциозно это было — такое заявление в устах одиннадцатилетнего пацана.)

— Воевать! — Серёжка вспыхнул, это было слышно по голосу. Потом он помолчал и неожиданно рассудительно и жутко сказал: — Понимаешь, Юр... это очень страшно — воевать, я видел... но, если мы их не прогоним, то они не дадут нам жить. Просто не дадут, нас не будет. Совсем. А я так не хочу и не могу так жить. Я лучше умру, но...

Ясно было, что у мальчишки нет слов, чтобы высказать то, что он думает. Но у Юрки они были, и он тихо сказал:

— Но сражаясь. Да?

— Да, — выдохнул Серёжка. — Я решил. Мне бы выбраться и пробраться в Воронеж. Я слышал... — шёпот Серёжки зашекотал ухо Юрке, — они говорили... Воронеж держится. Там наш генерал Ромашов их не пускает.

— Ты... правду говоришь? — сдавленно спросил Юрка. В нём вдруг вспыхнула надежда.

До этого он сам не очень понимал, почему думает о побеге, что собирается делать, если сбежит-таки. Ему казалось, что вместе с отрядом Батяни кончилось вообще всё организованное сопротивление. И вдруг оказалось... — Правду? — почти умоляюще спросил Юрка снова.

— Они так говорили, — прошептал Серёжка. — Ругались — одуреть, как ругались... Юрка, а знаешь? — в голосе Серёжки проскользнуло ликование. — Они боятся. Правда боятся. Боятся, что их пошлют в Воронеж. И говорят, что и другие места есть... и партизан много... А если они сами боятся, то почему их должен бояться я?

В этом заявлении была довольно глупая, но искренняя логика. Если бы Юрка был старше — он бы, наверное, посмеялся... но ему и самому было всего шестнадцать лет. Поэтому он сказал:

— Есть ещё двое ребят... младше меня, но старше тебя... Завтра я тебя с ними познакомлю. И будем думать. Правда, — признался Юрка, — я не знаю, что тут можно придумать. И как. Уже всю голову себе сломал.

— Придумаем, — непоколебимо-уверенно ответил Серёжка. — Не можем не придумать.

* * *

Он всё-таки успел уснуть и вздрогнул, когда старшие мальчишки растолкали его. Всё было обговорено заранее. Юрка, Славка и Вовка начали тихо снимать с нар лежаки большие — закреплённые в пазах листы пластика. Серёжка подошёл к двери и притих около неё, прислушиваясь. Делалось это очень тихо — никто в бараке больше не проснулся или, проснувшись, сделал вид, что это его не касается. Когда подошедший Вовка кивнул Серёжке, тот нажал кнопку рядом с косяком и, когда загорелась зелёная кнопка, прохныкал:

— Дяденька охранник... мне в туалет... очень... мне по-большому...

В ответ раздалась приглушённая матерная брань разбужденного хорвата. Но Серёжка продолжал ныть и скулить, даже подпрыгивая на одном месте для убедительности, как будто его могли видеть снаружи — и в конце концов в двери щёлкнул фиксатор замка. Скорее всего, охранник собирался просто вздуть надоедливую мальчишку, а не водить его по сортирам, да потом пару раз сунуть головой в ящик биотуалета в дальнем углу барака — как уже делали пару раз со слишком стеснительными. Но привести в исполнение это желание ему не удалось.

Стоило ему войти, как Юрка рубанул его в горло — в кадык — ребром пластикового листа. Хорват коротко хрипнул и повалился на руки Славки и Вовки.

— Блин, он без оружия, — прошептал Славка. — Шокер один.

— Чёрт с ним, — ответил Юрка. — Скорее давайте, бежим, ну!

Они вышли наружу. Осторожно, крадучись. И почти тут же в бараке кто-то завопил — срывая голос, с визгом:

— Убегают! Охрана, убегают же!!!

Серёжка с отнюдь недетским ругательством метнулся обратно, но Вовка пинком (руки были заняты) направил его в сторону соседнего барака, прошипев:

— Бежим, всё равно теперь, ну?!

Взревела сирена. Мальчишки мчались со всех ног, волоча настилы. Лучи прожекторов заматались по периметру лагеря, но всё получилось так, как и рассчитывал Вовка — стена барака прикрывала беглецов, им надо было сделать ещё один рывок, только один.

Откуда черти вынесли солдата — Юрка так и не понял, ни тогда, ни позднее. Вовка врезался в него со всей дури, охранник, выпустив автомат, полетел наземь, и Серёжка на бегу механически подхватил оружие за ремень. Но почти тут же раздались крики, звуки борьбы — оглянувшись, мальчишки увидели, что Вовка барахтается на земле. Солдат схватил его и пытался скрутить. Вовка тщетно вырывался из рук здоровенного, хотя и ошалелого мужика, пинался, кусался и орал:

— Бегите, бегите, не стойте, бегите же!!!

— Беги! — Юрка подтолкнул в спину замешкавшегося и вскинувшего автомат Серёжку. — Беги, не поможем, только сами пропадём, беги!

Славка уже был около контрольной полосы и с размаху грохнул на неё настил. Вот это и было самое «узкое» место всего плана. Три настила — шесть метров — одна перекладка. Но один настил валялся там, где всё ещё дрались Вовка и солдат. Сейчас Юрка готов был наорать на Серёжку за то, что тот не подобрал настил, а не автомат... впрочем, Серёжка вряд ли утащил бы неудобный большущий лист. Да и поздно было что-то выяснять, менять — надо было теперь идти до конца, действовать — и надеяться на лучшее.

Луч прожектора нашарил их, когда все трое стояли на одном настиле в каких-то четырёх метрах от конца полосы. На миг мальчишек словно приварило к месту этим иссушающе-могучим, мертвящим светом, но уже через пару секунд Славка шваркнул перед собой нары, перешёл на них... как вдруг что-то хлюпающе засвистело вокруг, с шипением взрыло землю. Юрка понял, что это — понял сразу и с трудом подавил инстинктивное желание броситься наземь. А Славка охнул, перекосясь вбок всем телом, сделал два неуверенных шага вперёд и, оттолкнув руку отчаянно вскрикнувшего Серёжки, попытавшегося подхватить падающего Славку, плашмя рухнул на колючую проволоку и осколки стекла.

— Бегите... по... мне... — услышал Юрка. Славка дёрнулся и простонал, видя, что ребята медлят: — Скорее... придурки... пропадём... те...

Он дёрнулся ещё раз и замер.

Всю жизнь потом Юрка думал, надеялся неистово, что Славка уже всё-таки был мёртв, когда они с Серёжкой пробежали по его телу, чтобы последним прыжком достичь безопасной земли — и кустов за ней.

* * *

Что уйти не удастся, Юрка понял, когда они лежали в кустах вдоль дороги — тяжело дыша и слушая, как в ста метрах от них разгружаются с грузовиков солдаты. Бежать мальчишки не могли — ноги не держали, они бежали до рассвета, покалечили ноги, разодрали в кровь лица и руки и теперь должны были хотя бы пару минут передохнуть. А потом бежать будет уже поздно.

Серёжка лежал на спине, глотая воздух широко открытым ртом, грудь ходила ходуном.

Юрка, распластавшись на животе и держа наготове «Калашников», думал.

И, когда обдумал всё, то заговорил.

— А сейчас мы сделаем вот что, — Юрка перевернулся на бок и внимательно посмотрел на Серёжку. Младший мальчишка часто дышал, прислушивался к шуму иговору на шоссе, но в глаза его не было страха, и Юрка мысленно ругнулся... и сжался. Никитка вёл бы себя так же, хоть внешне они совершенно не были похожи. — Сейчас мы сделаем вот что, — повторил он, чтобы самому собраться с духом, решиться, сделать шаг, после которого повернуть уже будет нельзя. — Сейчас ты пойдёшь в лес. Я тебя прикрою.

Глаза Серёжки стали непонимающими, а потом... потом — ух, каким серым искристым гневом из них ударило!

— Ты... ты что?! — тонким от этого гнева голосом сказал он. — Бросить тебя?! Ты...

— Помолчи и послушай, — оборвал его Юрка. — Я тебя не убежать посылаю...

— Так всегда говорят! — почти выкрикнул мальчишка, отодвигаясь, как будто Юрка мог каким-то невероятным способом сейчас закинуть его, Серёжку, за километры от этого места. — Ты просто думаешь, что я маленький, ты меня спасти хочешь, а ты меня спросил?! Я не хочу так спастись! Не хочу тебя бросать, не хочу быть предателем, не хочу!

— Я сказал — молчи, — Юрка дотянулся, тряхнул его за плечо. — Ты сейчас уйдёшь. Не убежишь, а уйдёшь. Да, я хочу тебя спасти. Да, потому что ты младше. Но я отсылаю тебя, не чтобы ты прятался, а чтобы ты сражался. Это раз. Ты должен дойти до города и до моего отчима. Просто потому, что я тебя об этом прошу. Это два. А три... — Юрка помедлил. — Три... Ты сейчас можешь сказать, что я вру. Но я сразу понял это, просто не говорил, боялся, что ты от меня сбежишь и пропадёшь один...

— О чём не говорил? — непримиримо, но любопытно спросил Серёжка.

— Наш командир... я тебе рассказывал... В общем, Сергей. Это был твой отец. Майор Ларионов. Он жив. Он сейчас на Весёлом кордоне, как я рассказывал. Ты когда svoю фамилию сказал — я подумал: похоже, ты его сын. А потом ты ещё про него рассказывал — один в один его рассказы.

Юрка сказал это — точнее, выпалил одним духом — и понял: всё. Серёжка поломался. Глаза мальчишки из непримиримых стали жалобными, губы приоткрылись — и, прежде чем с них сорвалось тихое: «Врёшь...» — после которого всё могло начаться сначала, Юрка закрепил успех:

— У твоего отца тут, ниже левого соска, — Юрка показал на себе, — было наколото: «Любовь до гроба — дураки оба.» Так? — Серёжка кивнул:

— Я тебе... я тебе про это не рассказывал... — прошептал он. — Папка жив?! Правда жив?! Он правда у вас командовал?! Это ты его... его вытащил?!

— Тяжело ранен, но жив, — сказал Юрка и прислушался (надо скорее, скорее...) — И я тебя отсылаю ещё и поэтому. Ведь твои мама и сестра живы. А твой отец считает, что вы все погибли. А мама с сестрой думают, что ты погиб, что отец погиб... Понимаешь, ты один знаешь, что все живы. Ты один, — Юрка говорил страстно и быстро, — ты один можешь помочь своим... своей семье... ну, вместе собраться, что ли. Ты один, Серёга, один! Ну посмотри, сколько смерти, сколько кругом смерти! Ну пусть вы-то будете счастливы хотя бы чуть-чуть, хотя бы потому, что вы — живы, все живы! Ведь это главное, это главное, а не всё остальное! Уходи! — Юрка вдруг заплакал и кинул в Серёжку горстью хвои. — Уходи, беги, ну?! Мне страшно, я могу передумать! Найди потом отчима, скажи ему... скажи... да уходи же, у меня сердце лопнет!!! — закричал Юрка так страшно, что Серёжка, как будто поднятый и правда невидимой силой, вскочил и бросился в чащу...

Несколько окриков послышались совсем рядом. Но это было уже не важно.

Юрка Климов улёгся удобней, кинул ноги в распор, пошевелил ступнями. И прижал к плечу приклад хорватского «калаша».

...Мальчишка пятнадцати, от силы — шестнадцати лет лежал на спине рядом со своим оружием — трофейным «Калашниковым». Грудь и живот парнишки были пробиты в полудюжине мест попаданиями, потрёпанная одежда промокла от крови и почернела, босые ноги — разбиты в кровь. Русский ещё дышал — прерывисто и часто. Командовавший румынскими поисковиками лейтенант «зелёных беретов» невольно вздрогнул: тонкое, красивое лицо мальчишки даже в предсмертной бессознательности сохраняло упрямое, азартное и вдохновенное выражение, и серые глаза смотрели не бессмысленно, а живо, пристально и недобро.

— Сумасшедшая страна... — запаленным голосом сказал лейтенант «зелёных беретов», разглядывая лежащего парня. — Что за сумасшедшая страна... Президент подписывает капитуляцию, министры выносят хлеб-соль по их кретинскому обычаю... а эти продолжают драться. Сумасшедшая страна! — уже почти выкрикнул он с прорвавшейся растерянной злостью.

Стоявшие рядом румыны молчали. Но, когда лейтенант достал «Беретту» и ловко прицелился в мокрый от пота лоб под светлыми прядями налипших волос, один из них — рыжеусый невысокий плутоньер — вдруг положил свою корявую руку на запястье американца.

Офицер изумлённо дёрнулся — и ощутил неожиданно тяжёлую, мужицкую силу пальцев плутоньера. Американец вспыхнул. Он мог одним ударом выбить дух из этого идиота, но... но на лицах остальных румын было написано что-то непонятное, и американец раздражённо поинтересовался, переходя на румынский:

— Что случилось?! Он ещё жив.

— Вот именно, — спокойно сказал румын. — Не надо в него стрелять, лейтенант. Мы понесём его к машинам и доставим в наш госпиталь.

— Что?! — лейтенант не поверил своим ушам. — Его?! Отпусти, ублюдок!

— Не надо, — сказал румын, и пистолет выпал на хвою из миглом онемевших пальцев «зелёного берета», а сам он согнулся на сторону. — А то ведь шлёпнем вас, а потом скажем, что геройски погибли в бою.

— Он же убил троих ваших! — выкрикнул американец. Распрямился, растирая запястье и не решаясь нагнуться за пистолетом — плутоньер отпустил руку и сказал вдруг с отчётливым презрением:

— Он свою родину защищал. Если ты это понять можешь, гость залётный... Виктор, Йонел! — окликнул он двоих с готовностью подошедших солдат. — Носилки сделайте, русского понесём.

— Может, ну его? — неуверенно подал голос кто-то из солдат. На него обернулись хмуро остальные.

— Все мы люди, — сурово сказал плутоньер. — Все в бога веруем. Хватит кровь после боя лить. И так уж... — он не договорил и стал смотреть, как вниз по стволу сосны спускается любопытная белка.

* * *

— Вот так все и вышло, — Сережка вздохнул. — Юрку я и не видел больше... наверное, он погиб. Добрался я до Воронежа, а отчим Юрки уже мёртвый. Я хотел у казаков остаться, а они говорят — маленький... хотели к пионерам сдать, а там мне говорят — такой, как ты, воевать не должен. А что я должен?! — в голосе Серёжки прозвучала обида. — Крупку переводить?! Я и сбежал. Пошел на тот кордон, на Весёлый. А от него одно пепелище...

— Ты думаешь, — Боже осторожно пошевелился, — что тот парень, Юрка, обманул тебя?

— Нет! — Серёжка дёрнулся возмущённо, чуть не опрокинул с ящика кружку с чаем. — Нет, он не такой... был. Просто что-то случилось, — печально и уже тихо сказал

Серёжка. — Я думал маму с Катькой искать. Дошёл до Грибановки... ну, где сторожка... а там тоже всё сожжено, местные говорят — да, была жена офицера с девочкой, но лесник и свою семью, и мою маму с Катькой увёл в лес. Куда — не знают... Ну, я и вернулся в Воронеж.

— И стал воевать, — сказал Боже. Серёжка вздохнул, пожал плечами. Отпил чай.

— Ну и стал...

— Ты не думай, я не смеюсь, — негромко сказал Боже. — У меня тоже мама погибла. И сестрички. У нас тоже война. Мы с отцом были в горах. Налетели американцы и сожгли наше село напалмом.

— И... — Серёжка не договорил. Боже зажмурился:

— Всех... У нас маленькая земля, — черногорец открыл сухие глаза. — Наше ополчение разбили, и мы с отцом бежали к вам. А тут и у вас началось... Мы пошли воевать. Отец тоже был снайпером. Только десять дней назад его убил тот... ну, тот, которого застрелил я. И я теперь один. Даже наши, наверное, думают, что я погиб.

Кажется, Серёжка хотел что-то спросить. Но в углу раздалось какое-то неясное поскрёбывание, мальчишка быстро встал, достал из кобуры небольшой обтекаемый «глок» и, пройдя в угол (тени почти скрыли его), прошептал:

— Кто?

— Смерть телепузикам, — раздался как из-под земли тонкий голос. Серёжка присел, что-то отодвинул. Боже всматривался, но мог различить только его спину с торчащими под майкой лопатками, да какую-то неясную тень в небольшом отверстии у самого пола. Слышался ускользающий шёпот: «Нет... да... пять... а они... я не боюсь... иди...» Тень пропала; Серёжка встал, что-то задвинул и вернулся обратно. Хотел сесть у огня, но передумал, сел рядом с Боже.

— Так ты не один, что ли? — напрямую спросил черногорец. Серёжка вздохнул, опять пожал плечами, зверски почесал коленку. Снова дёрнул плечами:

— Ну... вроде того. Это так. Ребята из нашей школы, из секции... кто остался... вообще ну... Боже, — вдруг выпалил он, — ты умеешь делать самодельные мины? Ну, из всякой там разной штуки — ручки, часы?

— У тебя блокнот есть? — без раздумий спросил черногорец.

ЗА МЕСЯЦ ДО ЭТОГО...

Лейтенант Берковитц узнал лежащего в постели человека сразу. У лейтенанта была хорошая память на лица, и уж тем более нелепо было бы не знать в лицо того, кого идёшь «братъ». «Медаль Конгресса, — с вожделением подумал офицер, удовлетворённо разглядывая ещё нестарое, хотя и измученное лицо бессильно откинувшегося на подушку партизанского командира. — Можно будет сказать, что он сопротивлялся... хорошо бы найти в доме оружие...» Он пожалел, что не прихватил пару трофейных стволов. Взять вооруженного врага — это вовсе не то, что раненого и ослабевшего.

— Это он, сэр? — быстро спросил капрал Галиенди.

— Не сомневайтесь, он, он! — радостно подтвердил информатор. — Бабка его тут прятала, карга старая!

— Мы оценим ваши усилия, — процедил Берковитц, даже не повернув головы в сторону предателя, и тот замолк. Лейтенант же с интересом продолжал разглядывать узкое, правильных очертаний лицо, решительный подбородок... Глаза Батяни — серые, а Берковитц почему-то думал, что они будут чёрными — смотрели с усталым, равнодушным презрением, и американец понял с восторгом, что затравленный зверь больше не может бороться. Светло-русые волосы русского на висках были седыми почти полностью, седина пробивалась в довольно длинной чёлке. «Ему тридцать три года, — подумал лейтенант, — как Иисусу. Смешное совпадение!» Берковитц кашлянул и, значительно посмотрев на Галиенди, заговорил по-русски:

— Вы достаточно понимаете меня?

— Не ломайте язык, я понимаю английский, — голос лежащего партизанского командира был хрипловатым, простуженным.

— Это хорошо, — переходя на родной язык, Берковитц позволил себе высокомерно улыбнуться: конечно же, русский должен его понимать! Это ведь язык мировой, а не их жалкое смешное лопотанье... — Я — лейтенант армии США Джесс Берковитц, арестовываю вас, как главаря террористической банды, согласно резолюции ООН и распоряжению командования международных сил... Позже вам будут предъявлены официальные обвинения в совершённых вами преступлениях. Протяните руку... Сержант, наручники, — повернулся к Галиенди Берковитц.

Обернуться назад он уже не успел. Горлу вдруг стало нестерпимо, чудовищно больно — а через миг эта боль отхлынула, унося с собой сознание и жизнь двадцатитрёхлетнего лейтенанта оккупационной армии.

Сержант Галиенди пережил своего командира на три или четыре секунды. Возможно, он даже успел бы схватиться за M16, если бы, выполняя приказ командира, не полез за наручниками, локтем отпихнув оружие за спину. Его отвлекло от этого странное бульканье, и он, всё ещё расстёгивая сумочку на поясе, поднял глаза.

В этот момент Берковитц тяжело рухнул на пол — уже мертвый, и лужа крови, бьющей из рассечённой брошенным ножом сонной артерии, растекалась по скоблёным некрашеным доскам пола. Длинная «полёвка», перекованная из куска рессоры, вошла точно за ворот жилета из келавровой брони со вкладышами из керамики, способного остановить пулю, пущенную почти в упор.

— А? — нелепо и растерянно спросил Галиенди, берясь за автомат и не находя его.

Партизан сидел в постели — худощавый, в спортивных трусах, меченый несколькими шрамами, с какой-то татуировкой, видной на забинтованной груди. В левой руке у него был массивный потёртый пистолет. В правой — отведенной за плечо — второй нож, финка.

— Не надо, — попросил Галиенди. И за миг до того, как финка вошла ему в левый глаз, мерзко опорожнил кишечник в штаны.

...Батяня поднялся. Бывший председательства Говядов, прижавшись к печке с приоткрытым ртом, смотрел на него белыми пустыми глазами, нижняя челюсть тряслась. Кровь лейтенанта подтекла к его валенкам с калошами. Он несколько раз шлёпнул губами, когда Батяня подошёл к нему и тихо спросил:

— Родную землю, сволочь, продал? Бабок срубить захотел?.. Зови сюда остальных. Сколько их там?

— Трррррррррое, — выдал очередь Говядов.

Батяня сунул ему под нос пистолет:

— Зови. На крыльцо выйди и зови. Двери не закрывай. И помни — я не промажу. Уж по тебе-то не промажу. Пошел, — он толкнул заспотыкавшегося предателя к дверям в сени и упруго взвел курок

— Эй, идите! — на ломаном английском, но вполне натурально завопил Говядов. — Господин лейтенант требует, тут нести надо! — он оглянулся, и, повинаясь молчаливому жесту Батяни, вошёл обратно в сени, а оттуда — в горницу. Застыл у печи.

На крыльце застучали шаги.

* * *

Срочно. Секретно.

В штаб 4-й лёгкой пехотной дивизии армии США.

Операция по аресту лидера террористов по кличке «Батяня» сорвалась.

Развитие событий не вполне ясно. Группа из пяти солдат во главе с лейтенантом моего батальона Дж. П. Берковитцем прибыла в деревню благополучно, после чего с нею прервалась связь. После двух часов молчания во исполнение инструкций я выслал на разведку приданный мне вертолет, который при визуальном наблюдении

обнаружил, что деревня пуста, а «Хаммер» моего батальона стоит у крыльца дома, в котором, как было указано информатором, находится на излечении «Батяня».

Группа солдат капитана Кразински, высаженная посадочным методом, подтвердила, что деревня покинута жителями. Так же ею были обнаружены тела погибших лейтенанта Берковитца, сержантов Галиенди и Граппа, капралов МакСлоу и Бриггса. Тела находились в доме. Лейтенант Берковитц и сержант Галиенди были убиты брошенными ножами соответственно в сонную артерию и левый глаз. Сержант Грапп и капралы МакСлоу и Бриггс были застрелены в лицо одиночными выстрелами снайперской точности и быстроты, о чём говорит тот факт, что ни один из них не успел взяться за оружие. Орудие убийства — предположительно пистолет калибра 9 мм Пар. Тут же был обнаружен труп нашего информатора Е.М. Говядова с простреленным пахом, коленями и затылком.

При обыске домов деревни погиб капрал Андерсон и был тяжело ранен рядовой Гонсалес. Они попытались снять со стены икону, по краю которой был заложен примерно двухсотграммовый заряд пластита, смешанного с кусками рубленой стальной проволоки и снабжённый вытяжным взрывателем.

Майор Майкл С. Фоггертти, командир 112 пехотного батальона.

ШТУРМ

СВОДКА ВНЕШНИХ НОВОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ОБОРОНЫ ГОРОДА ВОРОНЕЖ. 1 СЕНТЯБРЯ 20... ГОДА

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ: В столице Техаса была казнена на электрическом стуле школьная учительница Эллис Палмер, активистка антивоенного движения. Последними словами мужественной женщины были: «Опомнитесь, техасцы! Что сделали нам русские?!» Между тем большая группа её арестованных сторонников так и не была доставлена в тюрьму штата — многосотенная вооружённая толпа, напав на конвой, отбила их и увезла в неизвестном направлении.

Выступая на состоявшемся в город Грин-Бэй совещании руководителей Гражданской Гвардии, Пэт Бьюкенен заявил следующее: «Нам нет никакого дела до России. Наше правительство послало в эту страну на смерть десятки тысяч американских парней. Между тем ежедневно в наших городах происходят сотни нападений на банки, офисы, школы и семьи белых американцев. И осуществляют их не русские, а чернокожие боевики. Вот где истинный враг каждого американца!» Речь неоднократно прерывалась овациями.

По данным независимых организаций, федеральное правительство не контролирует до 30 % территории страны. Ежедневно фиксируется до 30 вооружённых столкновений разной степени интенсивности — в основном, между отрядами «Чёрных Братьев» и Гражданской Гвардии.

Боевики Церкви Арийской Христианской Нации, возглавляемые лично преподобным Ричардом Гирнтом Батлером, осуществили нападение на геронтологическую клинику в Альбукерке. С территории городка клиники было спасено более 800 детей, ранее вывезенных с территории России по заказам трансплантологических клиник. Сама клиника была сожжена. Выступая по независимым радиоканалам, преподобный Батлер заявил, что в расположенных в недоступной местности лагерях на обеспечении его церкви сейчас содержится до 30 тысяч русских детей, спасённых таким же образом. «Если же правительство людоедов, рассматривающее творение божье, как конструктор, — добавил преподобный Батлер, — сделает попытку отбить этих детей или как-то пресечь нашу деятельность, то пусть знает — это наша земля и Господь Всемогуший вручил нам оружие для её защиты!» Что же до детей, то они будут возвращены на родину при первой возможности, добавил глава церкви, имеющей сейчас до полумиллиона сторонников во всех

штатах США.

Вожди племён лакота и семинолов заявили о создании Конфедерации Коренных Народов. По их заявлению, в распоряжении организации сейчас находится до 8000 бойцов. «Мы почти ничего не знаем о России, — ответил на вопрос журналиста один из лидеров ККН, — но точно знаем, что русские никогда не делали нам зла.»

Арестованы по обвинению в предательстве 12 православных священников. Главный пункт обвинения — в их церквях осуществлялся сбор денежных средств на нужды РНВ.

С неожиданным заявлением в конце проповеди выступил глава протестантской церкви США Джон Бэлчер. «Господь проклял Америку!» — со слезами на глазах сказал Бэлчер и, покинув церковь, в которой велась служба, уехал в неизвестном направлении.

Количество военнослужащих США, погибших за последние три месяца на территории России, достигло цифры в 37 тысяч человек.

ГЕРМАНИЯ: «Нам не нужен новый Сталинград,» — категорически заявил канцлер Германии в ответ на просьбы руководства НАТО послать в Россию хотя бы двадцатитысячный корпус. Что интересно, почти теми же словами ответил на схожую просьбу премьер-министр Франции: «Нам не нужен второй поход Наполеона!» Правительства обеих стран в данный момент все силы бросили на подготовку массовой депортации со своих территорий лиц некоренной национальности.

ФРАНЦИЯ: Франсуа Ле Пэн заявил, что люди из отрядов силовой защиты его организации снабжены всем необходимым и ждут только одного — приказа на вылет. Не уточняя, о чём идёт речь, Ле Пэн заявил, что это и так ясно любому.

БАЛКАНЫ: Командиры отрядов православных боевиков «Новой Византии», в составе которых воюют сербы, греки, македонцы, румыны, болгары, черногорцы, представители других славянских и неславянских национальностей, заявили, что организация полностью преодолела последствия поражений весны этого года и к концу зимы намеревается освободить 50 % территории Балкан от войск марионеточных проамериканских правительств. Иерархи православной церкви на соборе в Афинах объявили это намерение полностью соответствующим духу борьбы с силами сатанизма и распада.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Отряды Южноамериканской Армии Святого Уго вместе с боевиками-геваристами штурмом взяли последний оплот марионеточных проамериканских правительств на севере континента — город-крепость Кито. «Если бы у нас было достаточно кораблей, — сказал в интервью корреспонденту журнала „Лайф“ лидер геваристов Ангиер Пере Санчес, — наши люди уже плыли бы к берегам России. Пример этой великой страны воодушевляет нас в нашей справедливой борьбе!» Представители ЮАСУ, впрочем, были более сдержаны в своих эмоциях.

ИРАН: Во имя Аллаха милостивого милосердного, обратился ко всем мусульманам мира президент Ирана Ахмадинижад. Каждый истинный мусульманин должен словом и делом поддержать мужественную борьбу великого русского народа с силами тьмы и ада. Президент особо предупредил членов международной организации «Аль-Каида» и движения «Талибан»: «Если хоть один выстрел вашего оружия прозвучит на земле России, если хоть один взрыв прогремит на её территории — вы будете навечно прокляты, как пособники сил зла и долгом любого мусульманина будет убивать вас!»

ИЗРАИЛЬ: Войска Израиля ведут тяжёлые оборонительные бои на побережье. Между тем, руководство большинства стран не горит желанием принимать у себя беженцев-евреев.

КИТАЙ: Руководство страны ещё раз подтверждает свою приверженность политике невмешательства в происходящее сейчас в мире. Тем не менее, было сочтено нужным предупредить некоторые страны и организации, что в случае дальнейшей эскалации напряжённости КНР оставляет за собой право на помощь силам, ведущим сейчас беспримерную по мужеству борьбу за идеалы светлого будущего.

Между тем, на территории самого Китая идут тяжёлые бои между правительственными войсками и отрядами уйгурских, маньчжурских и тибетских сепаратистов.

АФРИКА: Чудовищное по масштабам побоище между войсками Африканского

Конгресса и движения «Талибан» в районе Великих Озёр не прекращается. Количество убитых оценивается уже миллионами.

ИНДИЯ: Ракетные войска республики готовы нанести удар тактическими ядерными зарядами по городам Пакистана.

КРЫМ: В боях с татарскими фашистами, поддержанными турецкими интервентами, был смертельно ранен атаман крымских казаков Александр Дальченко. Последними словами этого человека, всю свою энергию и саму жизнь отдавшего делу воссоединения России и Крыма, были: «Россия... победа...» Место Александра Дальченко занял его боевой товарищ и друг детства Дмитрий Турчанинов.

УКРАИНА: Шахтёрские отряды закончили освобождение от ОУНовских банд города Харькова.

БЕЛОРУССИЯ: Третье по счёту наступление польско-прибалтийского оккупационного корпуса на Минск отбито с большими потерями для оккупантов. К сожалению, тяжело ранен президент Белоруссии Александр Лукашенко, лично возглавивший контратаку танкового полка, решившую исход сражения.

АРМЕНИЯ: Армянские войска вышли к пригородам Баку.

В европейской части России оккупанты контролируют лишь 38 % территории!

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: Остатки японского десанта на острове Уруп сдались частям РНВ.

УРАЛ: Все попытки оккупационных войск проникнуть за уральский хребет отбиты!

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД: На съезде лидеров сил сопротивления была принята резолюция о ведении боевых действий до того момента, пока хоть один вражеский солдат находится на территории России в границах 1990 года.

КАЗАНЬ: Удачным оказался побег из лагеря для гражданских лиц под Казанью для известного до войны певца и артиста Бориса Моисеева. До войны скандально известный и вызывавший у подавляющего большинства населения России резкое неприятие артист в самом начале оккупации России занял неожиданно мужественную гражданскую позицию — в отличие от большинства «деятелей культуры и искусства», чьё трусливо-предательское поведение посадило ещё одно несмываемое пятно на ветхий плащик «интеллигенции». Отказавшись сотрудничать с оккупантами в какой-либо форме, Моисеев был направлен в лагерь под Казанью, откуда дважды совершал попытки побега. Третья оказалась удачной — Борис Моисеев добрался до передовых позиций РНВ на склонах Урала.

Переход солдат и офицеров «славянских» частей НАТО и ООН на сторону защитников России принял массовый и практически необратимый характер. На данный момент более 30 тысяч украинцев, хорватов, поляков, чехов, словаков (не менее 25 % общей численности контингентов этих стран) дезертировали из своих подразделений и либо сражаются в наших рядах, либо скрываются на территории России, либо даже пробираются на родину. Эта цифра значительно превышает число погибших солдат «славянских» контингентов.

В оккупации России официально участвуют 11 стран НАТО, выставившие контингенты общей численностью около семисот тысяч человек. Сюда же следует добавить около трёхсот тысяч солдат из 22 стран миссии ООН «Свободу России» и более двухсот тысяч наёмников, официально работающих на частные компании. Общие потери оккупационных сил на конец лета составили не менее 150 тысяч человек убитыми, 40 тысяч пропавшими без вести, 370 тысяч ранеными.

На оккупированной территории России действуют не менее 300 партизанских отрядов разной политической ориентации общей численностью не менее 45 тысяч бойцов.

* * *

С утра лил совершенно уже осенний дождь, тучи сплошняком затянули небо. Было ещё темно — не больше четырёх утра. Пионерские курьеры из всех семи отрядов на велосипедах мокли под козырьком у входа в подвальное помещение — редакцию «Русского

знамени». То один, то другой, получая пачку свежих, только что отпечатанных номеров, совал её в непромокаемую, сумку, вскакивал на велосипед и с шуршанием катил по разбитому мокрому асфальту...

* * *

Верещагину давно хотелось узнать — играет Басаргин в белогвардейского штабс-капитана или правда себя так ощущает? Впрочем, сейчас это было малоинтересно — Игорь пел очень хорошо, и Шушков отлично подыгрывал...

— Всё что сбудется — не забудется...
Всё что вспомнится — не исполнится...
Так о чём же ты плачешь, красавица?
Или мне это просто чудится?

Практически в полном составе дружина собралась в подземном переходе. Да, в полном составе, подумал надсотник удовлетворённо. 311 человек — почти штат. Это не июнь, когда я не знал, как сто человек растянуть на оборону для пятисот! Правда, пришла другая мысль: от тех, с кем он начинал тогда — тут едва четыре десятка. Остальные...

Верещагин тряхнул головой. Посмотрел на своих командиров сотен.

Земцов — по-прежнему бородатый и непоколебимый.

Басаргин, недавно повышенный в звании — за давнюю оборону школы — до сотника.

Подсотник Эндерсон, которому Шушков почти с облегчением уступил командование второй стрелковой сотней.

— Отче, — прошептал Пашка, — народ собрался, пора с массами говорить.

— Заткнись, шутник, — так же тихо ответил Верещагин. Хотел крепко отвесить Пашке по белокрысому затылку, но воздержался. Встал с ящика из-под консервов, одёрнул куртку и поправил берет, который на этот раз, вопреки обыкновению, водрузил на голову. На благородные седины, так сказать, подумал Верещагин, иронизируя над собой и окидывая взглядом повернувшиеся к нему лица.

— Так, народ, — начал он так, как много лет начинал уроки в школе. Из задних рядов молодой голос крикнул:

— Давай, вождь! Веди нас!

Посмеялись все, включая самого надсотника.

— Поведу, — согласился Верещагин. — Вот прямо через десять минут и поведу. Офицеры вам, конечно, уже объяснили, куда мы пойдём и что будем делать. Как пел Владимир Семенович — «Наконец-то нам дали приказ наступать! Отбирать наши пяди и крохи!» — Верещагин помолчал. Его слушали теперь серьёзно и внимательно. — Вы все добровольцы. Наша дружина, ещё две дружины, казачий полк, десантники батальон, дроздовцы, подразделения ополченцев — их стягивали сюда всю ночь, благо, беспилотники в такую погоду не летают... Наша задача — разгромить врага в Северном районе. Если нам это удастся — враг и на севере отойдёт к Подгорному и Ямному, побоится окружения. Да самой Чертовицы территория будет свободна, в наших руках окажется аэродром... Но... — надсотник снова помолчал. — Но сколько из нас доживут до вечера — я не знаю. А вы должны знать одно — вперёд. Каждый сам себе командир, распоряжений не ждать, рук не поднимать, в плен никого не брать. Только вперёд, пока не окажемся на Антонова-Овсеенко. Нам приданы БМП-2, две «Шилки», 122-миллиметровка «гвоздика», несколько буксируемых орудий и ПТРК. Но вы знаете сами, как бронетехника горит на улицах. Так что воевать будем мы сами, а не броня. И в этом — наша сила, мужики, — твёрдо сказал Верещагин. — Это наше первое настоящее наступление здесь. А теперь у вас есть десять минут — помолиться, подумать, написать пару строк... ну, вы всё понимаете. Готовьтесь. Через пятнадцать минут по району шарахнет артиллерия резерва. А ещё через пять — пойдём мы...

...Дождь снаружи усилился. Верещагин неспешно шёл по разбитой улице — под прикрытием того, что некогда было стеной дома, а теперь превратилось в вал щебёнки.

Около поворота в переулок надсотник остановился возле сложенной из кирпичей невысокой пирамидки. В кирпичи была вделана медная табличка со старательно выгравированной надписью:

ДИМА МЕДВЕДЕВ

Вокруг пирамидки и на ней самой были повязаны галстуки — много чёрных от дождя алых галстуков, десятки. На некоторых виднелись надписи. Верещагин подошёл ближе...

...Димон, спи спокойно, мы отомстим...
...брат, ты не умер, мы делаем твоё дело...
...гадам жизни не будет, Димка!..
...не забудем, не предадим, не простим...
...наш Город помнит тебя, Димон!..
...ты мог быть моим братом, а тебя убили...
...мы сейчас уходим. Благослови, Димка...
...все, павшие здесь, родятся снова!!!
...Димочка, я тебя люблю, родной!..

Медленным, почти старческим движением надсотник полез в карман «Тарзана» и достал что-то. Положил на край пирамидки. Выпрямился. Отдал честь. И ушёл, чётко повернувшись через левое плечо.

Тяжёлый даже на вид, светящийся каким-то неземным, собственным светом серебряный крест — Георгий четвёртой степени на сразу потемневшей оранжево-чёрной ленточке — лежал на мокром кирпиче.

* * *

Ещё одна порция снарядов, бешено урча и визжа, пронеслась над гостиницей — на запад, в сторону вражеской обороны. Дождь лил, не переставая, колыхался серой пеленой, и за дождём почти незаметно было наступающего рассвета.

Заняв место за баррикадой, надсотник Верещагин аккуратно проверил оружие — приоткрыл, переставив предохранитель на автоматический огонь, затвор, низачем стёр с примкнутого 70-зарядного пулемётного барабана воду. Достал из кассеты на жилете осколочную гранату, вставил в подствольник. Вспомнил строки Розенбаума:

Предохранитель — вниз до упора,
Очередь от живота...

Хорошая песня, а вот Розенбаум то ли ни знал, то ли забыл, что «вниз до упора» — одиночный огонь...

Кое-кто справа и слева молился, целовал нательные крестики. Большинство просто ждали — неподвижно, с напряжёнными лицами. Верещагин ещё раз осмотрел сотню — не пролез ли кто из пионеров? Десять минут назад вернули аж шестерых, тарившихся в неразберихе перед наступлением среди дружинников. Нет, вроде никого.

Справа приткнулся Пашка. Указал на подошедшую технику. Верещагин кивнул, глянул на вестового. Чуть не спросил: «Может, останешься?» — и понял, что после такого вопроса Пашка навсегда перестанет с ним говорить.

— Держитесь на флангах, — сказал Верещагин подошедшим командирам «шилок», — ты — в тылу, — кивнул он БМПшнику. — Твоя бандура пойдёт в цепи, — обратился он к командиру самоходки. — От гранатомётов прикроем, как можем, не волнуйся... Давайте по

машинам.

Несколько красных ракет со свистом и воем взлетели за позициями защитников.

— Пора, — сказал Верещагин, вставая на колено. Вокруг зашевелились. — Басс, давай.

Молодой парень из сотни Басаргина — с повязанным поверх снаряжения бело-голубым шарфом — вскочил на баррикаду и великолепным ударом ноги отправил вперёд, в сторону вражеских позиций, туго накачанный футбольный мяч...

— За мной, вперёд, в бога душу мать!!! — заорал Верещагин, вскакивая. — Вперёд, пока они свои кишки собирают! Ура-а-а-а!!!

— ...rrrrraaaaa!.. — отозвались по фронту сотни глоток.

Атака на Северный район началась.

* * *

От укреплений врага дружину отделало около ста метров развалин. Среди них кое-где лежали трупы, но немного. Оконные проёмы дома впереди были заложены мешками с песком, торчали стволы — в том числе крупнокалиберных пулемётов. Здание вяло горело, во многих местах было разрушено, и в ответ на бешеную стрельбу атакующих выстрелы раздались не сразу. Гранатомётчики били по видимым амбразурам.

— Вперёд! — ещё раз, слышно уже только тем, кто был ближе, прокричал Верещагин.

«Всё», — коротко, словно с обрыва прыгая, подумал Пашка, устремляясь за ним. Почему-то казалось главным, чтобы его не убили в этих развалинах. словно в самом здании случиться уже не могло ничего страшного...

Кто-то сделал ему «ступеньку», и Пашка прыгнул внутрь через горящие мешки. Внутри тоже всё горело, и первое, что он увидел — оскаленное лицо польского солдата, сидящего у стены с автоматом поперёк колен. Солдат тоже горел.

Но в атакующих почти тут же начали рубить в упор, с каких-то двадцати шагов, от внутренних дверей, в ответ они тоже открыли огонь. Пашка стрелял из своего АК-104, прижавшись к стене, фактически убеждённый, что сейчас его убьют — но в какой-то миг огонь дружинников «забил» вражеский, и кто-то (непонятно — кто, да и неважно) крикнул:

— Вверх, скорей, пока не очухались!

Лестницы загудели от шагов. Стреляли друг в друга почти в упор, и Пашка видел во всех деталях лица врагов на лестничной площадке одним этажом выше — площадке широкой, как танцзал (дом, наверное, был элитным) и тоже перегороженной баррикадой из мешков. Бежавший рядом с Пашкой дружинник согнулся и полетел вниз через перила. Кто-то стрелял картечью, выстрелы «сайги» рвали уши в замкнутом пространстве. Слева обрушились перекрытия, вместе с ними падали, крича, люди — непонятно, кто... Атака почти остановилась, черноволосый дружинник с непокрытой головой, хрипя от напряжения, оттаскивал вниз раненого друга... Под ноги Пашке рухнул ещё один дружинник — вопя от боли; из обеих ног выше колен у него выбрызгивала кровь. По лестнице, разрываясь на подскоках, катились ручные гранаты... но сверху совершенно неожиданно ливнем брызнули по обороняющимся пули — это подоспели другие группы, прорвавшиеся соседними лестницами. На площадке началась рукопашная, поляков зажали с двух сторон. Всё затягивали дым и пыль, Пашка отбиваясь автоматом от чьего-то тычущегося штыка, сумел поднырнуть под лезвие, выстрелил в упор в живот, в жилет...

Они ворвались на второй этаж, растекаясь по коридорам. Дружинники шли по стенам, беря на прицел дверные проёмы, бросали внутрь ручные гранаты, врывались следом за разрывами, накрест поливая свинцом стены, углы, пол и потолок — из трёх-четырёх стволов одновременно. Делалось всё это в бешеном темпе, к окнам тут же ложились снайпера и пулемётчики и открывали огонь по соседним зданиям, поддерживая штурмующих их товарищей. То тут то там всё чаще и чаще из окон вывешивались чёрно-жёлто-белые флажки — знаки того, что ещё одно здание взято русскими.

— Не стреляйте, сдаюсь, сдаюсь! — крик по-русски.

Очередь в живот, пинок в голову. Сдающихся тут нет, нет, не может быть. Те, кто жив, стреляют в ответ...

Пулемётное гнездо на стыке двух коридоров отбивалось сразу из трёх стволов. Пашка упал на живот за какой-то колонной, стрелял в ответ, пули с хрустом пробивали дешёвый гипсолит, крашенный под мрамор, носились, потеряв направление, туда-сюда... Гнездо накрыли двумя гранатомётами; один из его защитников — без обеих ног — долго, трудно стонал где-то под мешками, из которых просыпался удивительно чистый, золотисто-сухой песок. Он засыпал кровавые лужи на мозаичном полу. Стонущего никто не искал — было много своих раненых...

Верещагина Пашка нашёл в одной из комнат, где он, сидя на идиотски огромной кровати-сексодроме, разговаривал с Басаргиным. Кто-то ещё — в углу — жадно пил воду, всё ещё тёкшую из фигурного крана.

— Живой? — надсотник засмеялся. — Здорово, а то мне сказали, что тебя убили, на лестнице...

— Не меня, — ответил Пашка, вешая автомат на плечо. «Не меня, — подумал он, — значит — ещё кого-то,» — мысль не испугала и не удивила. — Пить дайте.

Ему протянули фляжку. Верещагин встал:

— Всё, идём дальше, скорей!

* * *

Штаб генерала Новотны был почти разрушен прямым попаданием 203-миллиметрового фугаса. Подожжённые гранатомётчиками, в улице горели бронемашины и автомобили штаба. Обе «шилки», выйдя на перекрёсток, густо простреливали счетверёнными 23-миллиметровками усеянную бегущими поляками улицу. БМП осталась где-то сзади, подбитая ракетой, а на броне «гвоздики» Верещагин подъехал ближе к развалинам, из которых кое-кто всё ещё продолжал отбиваться. Пули густо защёлкали по самоходке.

— Дай им! — крикнул надсотник в приоткрытый люк и зажал уши.

Вумп! Часть ещё стоявшего дома обрушилась внутрь, из окон шарахнуло пылью и дымом, послышался мучительный крик:

— Ооооо матка бозка-а-а!..

— Сдавайтесь! — крикнул надсотник, поднося к губам поданный Пашкой невесть где взятый мегафон.

— Нас всё едно вобьют! — крикнул кто-то из развалин на ломаном русском.

— Сдавайтесь! — повторил Верещагин. — Никого из сдавшихся не тронем! Слово офицера!

— Кто ты такой?

— Надсотник РНВ Верещагин, командир дружины! — ответил надсотник. — Повторяю — слово офицера, что, если вы сдадитесь в течении пяти минут — никому из вас не будет причинено вреда! Время пошло!

Впереди снова началась стрельба, но возле штаба было тихо. Только трещали пожары.

— Заряжай, — сказал Верещагин в люк.

— Давно, б...я, заряжено, — ответили оттуда. — Только б не сдались...

— Сдадутся. Это так — на всякий пожарный.

Подходила к концу третья минута, когда из полуобрушенного отверстия входа показался белый флаг.

Это было настолько неожиданно, что находившиеся на улице замерли. Верещагин, сам этого не осознавая, поднялся в рост.

— Сдаёмся! — крикнули изнутри. Кричали по-русски, очень чисто. — Выходим, не стреляйте! Пан генерал ранен, мы выводим его!

Дружинники встали по обе стороны выхода, взяв его на прицел. Соскочив наземь, Верещагин подошёл к ним.

— Бросайте оружие впереди себя!

— Стволы и финки бросать на снег, — заметил кто-то, разряжая патетическую серьёзность момента.

Из дыры с лязгом вылетел первый автомат...

...После сдачи тридцати двух офицеров и солдат ещё двое офицеров вывели высокого военного с забинтованными плечом и головой.

— А теперь горбатый, — сказал тот же голос. Кое-кто засмеялся, но большинство дружинников хранили серьёзное молчание.

Отстранив придерживавших его спутников, генерал Новотны посмотрел на надсотника с неожиданным глубоким интересом. Достал из кобуры и протянул Верещагину небольшой пистолет. Молча отдал честь.

— П64, — сказал Верещагин, осматривая оружие. Помедлил. И вернул пистолет генералу: — Проще, пан генерал. Ваша зброя.

Брови генерала шевельнулись. Он спрятал оружие в кобуру. Усмехнулся.

— Вы в плену. Вы и ваши люди, — сказал Верещагин. — У меня будет просьба... вы понимаете меня?

— Так, — кивнул Новотны. — Я вем руски.

— Хорошо... Так вот, у меня будет просьба, отказ её выполнить никак не повлияет на вашу судьбу или судьбу ваших людей. Сейчас вас отвезут в штаб. Вы не могли бы обратиться к тем из ваших людей, кто ещё сопротивляется — с приказом сдаться? Технические возможности вам предоставят... — увидев, как глаза генерала сузились, Верещагин сказал — без угрозы, даже с какой-то ленцой: — Право, пан генерал. Это не ваша война. Мне жаль, что вы, поляки, не можете этого понять.

Генерал обмяк. Что-то тихо сказал стоящему рядом офицеру. Тот отдал честь и обратился к Верещагину:

— Пан генерал согласен сделать это. Но хорваты... они могут не подчиняться такому приказу.

— Мы их убедим, — усмехнулся Верещагин. — Скажите господину генералу, что я благодарен ему за согласие...

— И какого чёрта? — буркнул Земцов, запрыгивая на броню САУ рядом с командиром. — Ты говорил с ним, как в кино. Как будто...

— Сергей, Польша никуда не денется, — ответил Верещагин, проверяя автомат. — Она будет нашим соседом. И теперь, когда мы победили, мы можем позволить себе быть людьми хоть в чём-то.

— Что мы сделали? — Сергей свёл брови.

— Победили, — легко ответил Верещагин и ахнул каблуком ботинка в башню. — Поехали!

* * *

«Шилка» горела на углу. Надёжно построенное здание правления рынка «Северный» продолжало огрызаться огнём со всех этажей. Звёздно-полосатый флаг развевался под самой крышей — яркий, хорошо видимый, хотя и мокрый насквозь. И почти из каждого окна неутомимо выскальзывал и бился рыжий огонь.

Добежав до Верещагина зигзагом, Земцов упал за бетонную плиту и выдохнул:

— Этих сдаться не заставишь.

— А этих я и не возьму, — отрезал Верещагин. — Э, чёрт, как к ним подобраться-то? — он обернулся к гаубице, махнул рукой: — Долбай! — крикнул, хотя слышать его за шумом боя вряд ли могли.

— В подвалы залезут, — буркнул Земцов. — У нас одиннадцать убитых за последние десять минут.

— Никому пока не высовываться, вести беспокоящий огонь, передать приказ! —

повысил голос надсотник.

Двое дружинников, сгибаясь вдвое, принесли на куске брезента Басаргина. Лицо сотника было спокойным, и дырочка от пули над левой бровью синела совсем незаметно.

— Прямо в лоб, — сказал, подходя, Влад Захаров. Так, как будто никто этого не видел. — Это из-за меня. Он меня оттолкнул, а сам...

— Так, — Верещагин сел на корточки, наклонился к убитому. Наклонялся всё ниже и ниже... ниже... ниже... Сергей, вцепившись одной рукой в бороду, другой обнял командира за плечи. Хрипло сказал с одышкой:

— Ну вот... ещё одного нашего... нет.

— Это из-за меня, — повторил Влад, кусая губы. — Но я знаю... как... командир, разреши... я знаю... тут коллектор, мы прямо в тыл им выйдем... Я думал, он обвален. А сейчас посмотрел — нет... Командир...

Верещагин поднял голову. Глаза у него были страшные. Подбежавший Эндерсон вдруг сказал:

— Господин надсотник... я хочу просить разрешения...

— Какого? — Верещагин повернулся всем телом, как волк. — Что?

— Я поймай... — американец указал подбородком на лежащего на брезенте Басаргина. — Он был ваш друг... Но... там... — он указал на здание. — Там есть люди, не заслужившие смерть...

— Что?! — шёпотом крикнул Верещагин. Именно шёпотом крикнул. — О чём ты?!

— Они слепы, — упрямо сказал американец. — Я буду говорить. Пусть они сдадутся. А вы оставьте им... жизнь.

— Ты сошёл с ума, — убеждённо сказал Земцов. — Чокнулся.

— Я бил вам хорошим офицером, — тихо сказал американец. — Мои соотечественники... они неправ. Можеть быть, они даже преступники. Но я не могу отказаться от них совсем.

На миг всем показалось, что сейчас Верещагин застрелит Эндерсона. И никто не ожидал того, что он сказал после короткого тяжёлого молчания:

— Иди. И скажи, что я пощажу всех сдавшихся. Кроме того негра, который пытал Димку. Если он ещё жив.

— И это слово офицера? — спросил Эндерсон.

— И это слово офицера, — подтвердил Верещагин. И опустился на землю рядом с телом Басаргина. Посмотрев на него, сказал тихо: — А помнишь, Игорёк, как ты к нам пришёл? Смешной... боялся смерти... а мы тогда и не думали, что это — смерть...

* * *

Полковник Палмер — с винтовкой в руке — стоял в тени входа, в проёме баррикады. При виде подходящего с высоко поднятым белым флагом офицера полковник пошатнулся, чуть не упав — и выкрикнул неверяще:

— Эндерсон?!

— Господин полковник, сэр! — капитан отдал честь и остановился. — Я предлагаю вам: сдавайтесь! Я гарантирую, что...

— Будь ты проклят, предатель! — в голосе и лице Палмера были гнев и злое отчаянье. Вскинуть винтовку было делом одной секунды.

Подняв руки к груди, Эндерсон отшатнулся на шаг и упал, успев вскрикнуть:

— Зачем?!

— Где твой коллектор, Влад? — спросил Верещагин.

* * *

За последние три месяца ливни вычистили трубу коллектора до блеска, унеся с собой

все запахи и весь мусор. Но одновременно она стала гулкой, как внутренность барабана. Оставалось лишь надеяться, что наверху сейчас достаточно шума.

Три десятка дружинников цепочкой на полусогнутых пробирались следом за Владом. Вторым шёл Верещагин. Третьим — Пашка.

Судя по всему, американцы не знали про коллектор — и вскоре выяснилась причина такой слепоты. На выходе он был загромождён упавшим ещё в июне холодильным шкафом. За шкафом слышались пальба и отрывистая ругань.

— Твою... — выдохнул Верещагин. Мимо протиснулись двое — размер трубы позволял — дружинников. Молча навалились на белую облупленную стенку...

...Неизвестно, что подумали американцы, когда из внезапно открывшейся дыры в бывший торговый зал полетели ручные гранаты, а следом посыпались русские. Оглушённые, ошеломлённые, офицеры и солдаты лёгкой и морской пехоты, тем не менее, оказали бешеное сопротивление. Между прилавков и лотков начался ближний бой.

Русских было меньше. Но атака оказалась слишком внезапной. Кроме того, яростью и решимостью — пусть и не подготовкой — они сильно превосходили «гордость американской армии».

В какой-то момент надсотник и ещё несколько дружинников перестреливались с группой морпехов с расстояния в пять-шесть метров, перебегая за прилавками — безбожно мазали и те и другие. Двое морпехов, бросив винтовки, вскинули руки; кто-то из дружинников поскользнулся на прилавке, другой отшатнулся от падающего товарища в сторону, и рослый капрал — без каски — ударил его штыком в горло. Верещагин, не успевая заменить опустевший магазин, отбросил «Калашников» и, выхватив из открытой кобуры маузер, двумя выстрелами в упор убил капрала. Почти тут же полковник Палмер обрушил на висок надсотника приклад М16; Верещагин успел закрыться рукой с пистолетом, приклад обломился, надсотник повалился на пол. Швырнув сломанную винтовку в подскочившего дружинника, Палмер выдернул из набедренной кобуры «Беретту» и получил пулю в плечо от вскочившего на прилавок Пашки, который выкрикнул:

— Вот тебе, сука! — и тут же упал, обливаясь кровью — выстрел полковника пробил ему шею. Палмер остался стоять на ногах на секунду дольше вестового — Верещагин выстрелил с пола, и полковник рухнул рядом с надсотником с простреленным черепом.

Поднял руки пулемётный расчёт в углу помещения — последние защитники. Надсотник, наклонившись над вестовым, притиснул повреждённую артерию кровью. Пашка возил ногами и зевал, глядя куда-то мимо командира сонными глазами.

— Фельдшер, тварь рваная, ты где?! — заорал надсотник. — Фельдшера сюда, скорее!!!

* * *

— Будет жить, — Близнюк вытер руки куском бинта. — Вовремя вы артерию перехватили... А вот Эндерсон...

— Он что — жив?! — надсотник встал, отталкивая санитаря, заканчивавшего накладывать ему лубок на сломанную лучёвку.

— Ну блин нельзя же так! — взревел оскорблённый до глубины души санитар, пытаясь на ходу закончить перебинтовку. — Командир, стой! Ну ёлы...

Из здания выносили трупы и раненых — своих, конечно. Около стены стояли в ряд восемь пленных — трое негров, два латиноса, явный китаец и двое белых, оба — раненые. Верещагин прошёл мимо них, не глядя.

Подсотник Эндерсон лежал отдельно, в окружении своих бойцов. Он часто и мелко дышал, глядя в небо и, наклоняясь к раненому, Верещагин вдруг понял, что дождь прекратился и светит солнце.

— Не миновать мне опять сотней командовать, — сказал тихо Шушков.

— Сэр, — вдруг очень ясно сказал Эндерсон по-английски, — я хочу вас просить, — он

глядел на Верещагина.

— Слушаю, Майкл, — тихо ответил надсотник на том же языке.

— Пленные... не убивайте их, — попросил Эндерсон. — Тяжело... когда отобьёшься от своих... пусть они неправы... но... тяжело... они слепые... дайте им прозреть... не убивайте их... мам, подожди, не убегай, я не хочу один... мама...

Глаза подсотника остекленели.

Верещагин выпрямился. У него страшно заболела сломанная рука.

Широко шагая, он подошёл к пленным. Негры смотрели тупо и отстранённо, но от них отчётливо пахло страхом — нечеловеческим, животным. Оба латиноса тряслись, как отбойные молотки. Китаец выглядел совершенно равнодушным. Раненый в голову уже немолодой сержант поддерживал парнишку лет 18 с простреленным бедром.

— Их как — вешать? — деловито спросил кто-то.

— В тыл, — отрезал Верещагин.

— Но это американцы...

— В тыл, — повторил Верещагин. — Хотя постойте... — он всмотрелся в нашивки негров. — Кто из вас сержант Лобума?

ых. или трупы своих и раненых. неынх. санитар, пытаюсь на ходу закончить перебинтовку. ке, другой отшатнулся от падающего товарища.

Он повторил вопрос по-английски и увидел, как здоровенный, огромный, как бык, негр посерел.

— Ясно, — сказал надсотник. — Этих семерых — в тыл. Парня перевяжи, — кивнул Верещагин фельдшеру на раненого в бедро солдата. — А это, — он повернулся к собравшимся дружинникам, — вот это, — сержант Лобума. Тот, который замучил Димку.

Отвернувшись, надсотник пошёл в здание.

Позади послышался дикий визг...

...Полковник Палмер лежал там, где его настигла пуля Верещагина. Надсотник, встав рядом, долго смотрел на перекошенное лицо полковника, на разбрызганный из раздробленного выстрелом в упор черепа мозг. Вздогнул — подошёл Земцов.

— Девяносто шесть убитых, — сказал он, садясь на прилавок, — двадцать пять раненых пришлось отправить в госпиталь. Соседи тоже вышли на рубежи. Хороший день.

— Хороший, — кивнул Верещагин. — Северный район наш.

Вошедший цыган молча поставил на прилавок отрезанную голову негра — искажённое ужасом лицо оставалось по-прежнему серым, обоих глаз не было.

— Вот, — сказал он. — Это за мальчишку... И сотника нашего сегодня убили...

— Да, — снова кивнул Верещагин. — Убили, и Северный район наш. Наш.

И, нагнувшись, он накинуд на голову полковника Палмера край брошенной кем-то куртки.

ОСЕННИЕ ИГРЫ

— Да вы что, фигурально выражаясь, одурели?! — лицо женщины в белом халате сделалось уже окончательно сердитым. — Не пушу я вас к нему, не мечтайте и не надейтесь!

— Женщина. Милая, — Верещагин прижал руку к груди. — Ну мне что ваш госпиталь — штурмом брать? Не умею я свои госпитали штурмовать...

— А я не умею вам объяснить — слов не хватает! — что у мальчика вам делать нечего, — отрезала врач. — Кстати, что у вас с рукой?

— Перелом, — ответил надсотник и мрачно оглядел развалины госпиталя — перенесённого в подвалы. — Не пустите?

— Нет, — отрезала врач и, безапелляционно повернувшись к офицеру спиной, пошла прочь.

— Так, — столь же коротко и безапелляционно сказал Верещагин и орлиным взором окинул покалеченный парк. Буквально через несколько секунд его взгляд упал на греющихся

на сентябрьском (практически ещё летнем) солнце двоих дружинников своего отряда.

* * *

Раненый офицер в сером больничном халате и тапках на босу ногу шествовал по коридору, неся перед собой забинтованную руку. Его лицо выражало стоическое терпение. В конце концов офицер остановился — очевидно, устав от кровопотери и интенсивного движения — возле дверей какой-то палаты. Вид у него был настолько убитый, что спешившая мимо медсестра — по виду, недавняя старшая школьница — затормозила и сказала тихо:

— Давайте я помогу дойти... вам в какую палату?

— Ничего, ничего, дочка, — прерывающимся голосом отозвался офицер, буквально на глазах дряхлея лет до пятидесяти, — я сам, ты иди, иди... — и, едва медсестра неуверенно пошла дальше, прытко метнулся в палату, ногой закрыв за собой дверь.

В палате было не меньше десятка «лежачих». Кое-кто даже в сознании и достаточно бодрый — к ним офицер и обратился:

— Ш-ша, мужики... Тихо. Где мой вестовой?

— Мальчишка-то? — начал один из раненых, верхняя часть тела которого была закована в гипсовый корсет. — Он...

— Вижу, — поднял руку Верещагин (это был он), — спасибо.

Пашка лежал около стены — под капельницей. Когда надсотник подошёл и присел рядом на корточки, то сперва испугался — глаза мальчишки, открытые, были сонными, как тогда. Но потом Пашка сморгнул муть, вяло, но радостно улыбнулся и пошевелил пальцами руки, в которую уходил шланг (не одноразовый, старый резиновый). Зашевелил губами.

— Тихо, молчи, ты что?! — офицер поднёс ладонь к его губам. — Молчи, не говори! — он видел, что бинты на шее Пашки помечены красным. Мальчишка мигнул. Снова улыбнулся. Выпростал из-под одеяла вторую руку, коснулся бинтов на руке офицера, шевельнул бровями. — Да, сломал всё-таки, — кивнул Верещагин. — Ты в него влепил, ну, тут я тоже подсуетился — и прямо в лоб ему. Ребята к тебе тоже собирались, они потом тебе яблок принесут... — Пашка опять улыбнулся. — Там ничего страшного, ты быстро поправишься. Крови потерял много, а заживёт быстро. Пашка, — офицер нагнулся к мальчишке, — ты меня спас. Если б не ты — он бы как раз этой пулей мне в голову.

Губы мальчишки шевельнулись. Надсотник угадал такое знакомое: «Ой, да ну, Олег Николаевич...» — и встал, чтобы мальчишка не увидел его слёз.

Но Пашка и так уже «уплывал». Глаза его опять затуманились, он опустил веки. Лежачих было не меньше десятка до пятидесяти, прытко метнулся в палату, ногой закрыв за собой дверь. двоих дружинников своего отряда.

— Спит, — сказал надсотник. Обернулся к раненым и вздохнул: — Просто спит...

— Кгхм, — сказала стоящая в дверях главврач. За её спиной маячила с ехидным лицом та самая медсестра. — Прррошу наружу.

* * *

— Смешно, — сказал Верещагин и вдруг засмеялся на самом деле — тихо, но так искренне, что лежавшая рядом женщина тоже не удержалась от смеха и спросила:

— О чём ты?

— Никогда не думал, что сломанная рука так мешает этому делу.

— Как ты меня нашёл? — спросила она.

— Да очень просто... — надсотник вздохнул. — Шёл — гляжу — то самое место. Сразу всё вспомнилось... Потом вспомнил и про адрес, ты мне называла.

— А ты не зашёл, — сказала она, переворачиваясь на спину. Добавила: — А я тебя сразу узнала. Ты ничуть не изменился.

— Врёшь, Лена, — усмехнулся Верещагин. — Я стал седой и умный.

— Ну, дураком ты и тогда не был... Я сразу внимание обратила — такой странный, загадочный...

— Это у меня наверное опять денег на сосиски не хватало, — заметил Верещагин, проводя здоровой рукой по волосам женщины. Это странным образом не выглядело лаской — просто движение.

— Не смейся, — строго сказала женщина, чуть отстраняясь. — Я терпеть не могла, когда кто-то стоит и сопит над ухом. Да ещё шуточки отпускать начинает. А в сто раз хуже — «серьёзно критиковать»... фэ! — издала она смешной звук.

— И поэтому ты носила свисток, — тоже оживился Верещагин. — Поглядела на меня через плечо, вздохнула тяжело и устало так спросила: «Мне свистеть, или сам уйдёшь?»

— А ты помнишь, что ты сказал? — засмеялась Елена. — Брови поднял и говоришь: «Впервые слышу, что милиция идёт на свист.»... Я о тебе потом часто вспоминала.

— А я о тебе нет, — сказал надсотник. Женщина хмыкнула:

— Честно по крайней мере.

— Как есть... А где твой муж? Я видел фото на серванте.

— Он погиб в начале лета. Был ополченцем, — коротко ответила Елена.

— А сын? — продолжал спрашивать надсотник, глядя в потолок, на котором проявились рассветные тени.

— Откуда ты про это-то знаешь?

— Что в доме есть мальчишка — видно сразу.

— Да... Он пионер. Никогда не думала, что ещё услышу это слово.

— Сколько ему?

— Двенадцать. Зовут Димка.

— Как?

Верещагин привстал. В голосе Елены прозвучало удивление:

— Дмитрий... Что с тобой?

— Нет, ничего, — офицер опустил голову на подушку. — Так.

— А у тебя есть дети? — помолчав, спросила женщина.

— Нет. Никого.

— Ты же рассказывал, что у тебя есть девушка. Тогда рассказывал, я ещё удивилась и даже обиделась — вот нахал...

— Нет. Уже тогда не было.

— Бросила? Или ты бросил?

— Она погибла, — надсотник закинул здоровую руку под голову. — А чем ты занимаешься... в смысле — сейчас?

— Я работаю в школе. Недавно открылась снова... в подвале. Рисование преподаю.

— Значит, сбылась твоя мечта?

— Не совсем. Я хотела стать художником... А ты кем был?

— Учителем... Светает. Лен, я пойду.

Встав и запахнувшись в халат, женщина села в кресло и молча смотрела в окно, за которым и правда начинался солнечный рассвет — будто вернулось лето. Неподалёку били пушки — бум-бум-бум, надоедливо и привычно. Надсотник одевался — неловко, одной рукой. И думал, что она могла бы помочь, и что он зря сюда пришёл — какой-то иидотский выверт, фокус памяти (или времени?), когда он за разрушенным памятником Петру Первому вдруг в вечернем сумраке увидел целую лестницу спуска и улицу за ней — совершенно такую же, как не то что до войны — вообще как тогда, в 91-м...

Он вышел молча. И женщина не повернулась в кресле...

...На самом пороге надсотник столкнулся — буквально лицом к лицу — с ойкнувшим мальчишкой, который отшатнулся назад, увидев выходящего мужчину. Но, различив форму и погоны, тут же подтянулся и лихо отдал салют.

Отдав в ответ честь, Верещагин быстро окинул взглядом паренька. Довольно высокий,

в полувоенной форме (перешитой из НАТОвской) со знаками различия звеньёвого отряда имени Героев Оборона, под курткой — красный галстук. Мальчишка был русский, сероглазый, и Верещагин, опустив руку после приветствия, сказал — сам не знаю, зачем, может быть, чтобы рассеять чувство неловкости — Димка глядел на него удивлённо, что было, в общем-то закономерно: «Дядя, а что вы тут делаете?»:

— Я знакомый твоей мамы, — и начал спускаться по ступенькам. Но мальчишка сказал вслед — без удивления, радостно скорее:

— А я вас узнал... сразу... почти сразу.

Надсотник удивился. Его фото было, конечно, в «Русском знамени», и не раз. Но таких как он офицеров были десятки. И их фото тоже печатались, так с чего мальчишка запомнил именно его?

— Откуда? — спросил Верещагин, оборачиваясь.

— А у мамы есть ваш портрет, — сообщил мальчишка спокойно.

* * *

Елена всё ещё сидела в кресле и удивлённо подняла голову, когда надсотник вошёл в зал — тяжело дышащий, словно после долгого бега. Из прихожей раздался голос сына: «Ма, я пришёл!» — но женщина сейчас этого не слышала, потому что Верещагин спросил:

— Где он? Покажи.

— Что показать? — спросила она устало, поднялась.

— Портрет, — ответил офицер, не сводя с неё глаз.

* * *

Длинноволосый мальчишка, опиравшийся локтем на парапет спуска, придерживал другой рукой на бедре красную спортивную сумку с надписью СССР. Светлую просторную безрукавку, пятнистые штаны, белые лёгкие туфли — свою тогдашнюю одежду — надсотник узнал сразу. А потом вдруг узнал и лицо, которое сперва показалось ему незнакомым.

— Это я, — сказал Верещагин, ощупью садясь в кресло. — Да, это я.

— Я рисовала по памяти, — сказала Елена. — Через год.

— Муж... видел?

— Да. Но он был не ревнивый, и потом... это же смешно было — ревновать к мальчишке. Я сказала, что это мой знакомый. Со школьных времён. И он больше не спрашивал.

— Лена, — сказал Верещагин, вставая. — Послушай... я голодный. У тебя ничего нет поесть?

Он хотел добавить, что потом занесёт паёк. Но не стал.

Несколько секунд женщина молчала. Потом кивнул и вышла.

Какое-то время офицер смотрел на портрет. Потом обернулся, почувствовав присутствие в комнате человека.

Мальчишка Димка — босиком, в спортивных трусах и рубашке, на которой по-прежнему был повязан галстук — стоял в дверях. Не меньше полуминуты мальчишка и офицер смотрели друг другу в глаза.

— Послушай... — сказал Верещагин. — Ты не думай. Я не навязываюсь тебе в отцы... — лицо мальчишки дрогнуло. — Просто... можно я буду приходить... иногда? Не только к маме. К тебе тоже. Можно?

Димка молчал долго. Слышно было, как на кухне что-то постукивает и звякает. Потом, глядя на портрет, он тихо ответил:

— Приходите... ладно.

Командир 9-й интернациональной роты капитан Киров был смущён, как школьник, застуканный за списыванием. Он даже смотрел в пол, чтобы не встречаться взглядом с генералом Ромашовым. А тот, глядя на болгарина, продолжал говорить:

— Ну так у вас рота или гайдуцкая чета под романтическим названием типа «Црвена смрт»?

— Рота, — голосом примерного школьника, осознавшего ошибку, ответил капитан.

— Да что вы говорите?! — нехорошо восхитился генерал-майор. 2 сентября, — он пододвинул к себе листок. — Боец вашей роты Хадитуды Купи-оглы... что это?! — Ромашов побагровел и грохнул ладонью по столу так, что запищал будильник на электронных часах, и генерал отключил его. — Это что?!

— Богом клянусь, его зовут Хадитуды Купи-оглы и он помак,⁵ — горячо заверил Киров. Болгарский акцент делал его речь подкупающе-мягкой.

— Да? — недоверчиво проворчал генерал. — Ладно... ну так вот, этот Купи-оглы затеял с казаками религиозный диспут о пользе обрезания. У вас что, рота или медресе?

— Да у меня мусульман-то всего трое! — возмутился Киров. — И закончилось же всё благополучно, ведь так, товарищ генерал?

— Если исключить то, что он залез, спасаясь от оппонентов, на остатки билайновской вышки около Дома Культуры имени Девятого января и оттуда призывал правоверных — на той стороне — покинуть ряды сторонников джаханнама и переходить в ряды войска праведников, результатом чего был пятиминутный обстрел из миномётов, — заметил Ромашов.

— Он был пьян, — признался Киров.

— Мусульманин? — уточнил генерал. Болгарин развёл руками в беспальных перчатках:

— Ну... это же наш мусульманин.

— Ладно, — проворчал Ромашов. Хмыкнул: — Казаки-то не обратились?

— Они тверды в вере, — серьёзно ответил Киров. — Хотя, должен признаться, что в момент, когда Хадитуды закричал туркам на той стороне: «А кто не перейдёт, тому я сам сделаю второе обрезание, но уже под корень!», — кое-кто из казаков стал говорить, что ислам — штука неплохая...

— Ладно, хватит! — посуровел генерал вновь. — Далее... 3 сентября. Бойцы вашей роты Славомир Бунашич и Бадри Лакоба, сняв штаны, на спор четыре минуты торчали в таком виде задом к противнику под ураганным огнём...

— Дети, — покачал головой Киров. — Славомиру семнадцать, Бадри шестнадцать, в головах ветер. Поспорили... Как только я это увидел, я стащил их в укрытие. Кроме того, особой опасности не было, снайперов у турок нет...

— Но ведь этот Бадри ещё и намёки делал, — генерал заглянул в бумагу. — «Осман гомик, иди суда, кито дабэжыт дават буду за так, не высо дыварнага брадачий е...» — генерал поперхнулся.

— Горячая кровь, — вздохнул Киров. — Честное слово, я на эти крики и прибежал... Сррразу пресёк.

— И ещё, — Ромашов склонил голову на плечо. — Снайпер вашей роты Боже Васоевич, числящийся погибшим уже тому как две недели, гуляет по тылам врага в компании каких-то несовершеннолетних, которые имеют непонятные дела с моим начальником разведки. Я в эти дела не вмешиваюсь, но вы бы не могли мне объяснить, капитан, почему ваш человек вместо пребывания на позициях занялся индивидуальной партизанской войной?

⁵ Этнические болгары, во времена владычества османов принявшие мусульманство суннитского толка.

* * *

— После того, как выдернешь эту проволоку — обратно вставить уже нельзя. Подшипник блокирует отверстие, дальше только взрыв при нажатии. Понял?

Вовка шмыгнул носом, вытер его рукавом куртки и кивнул:

— Понял. Боже, — он поднял глаза на черногорца, — а вот это что?

— Рубашка, — Боже подкинул на ладони туго свёрнутую проволочную спираль, надкусанную плоскогубцами. Это на гранату. Вот так. Видишь?

С утра светило яркое солнце, и постоянные обитатели «Факела» — Вовка Гоблин и Вовка Просто, Дю, Машута, Змейс, Леди Ди, Тугрик, Лавэ, Лёшка, Тонна, да и сам Серёжка — извели Боже своим нытьём, в результате чего он скрепя сердце решил провести лекцию снаружи — конечно, выставив часовых. И в самом деле — сентябрь, сколько ещё осталось погожих дней?

— А ты сколько таких наделал? — спросил Змейс, валявшийся рядом на куске пенки. — Кла-а-ассс — идёт мутант, ногой дёрг, чик, щёлк — он думает, что ещё типа упасть или там отскочить успеет, а тут сразу — бумц! И лохмотья по стенам.

— Ещё четыре штуки, — ответил Боже. — Ставьте с умом.

— Тогда Тугрику не давайте, — сказал Лёшка, самый мелкий в компании (ему недавно исполнилось девять лет). Смуглый (и от того не такой грязный, как остальные) Тугрик потянулся было отвесить обнаглевшему мальку щелбан, но узрел солидный кулак Тонны, колющий взгляд Серёжки — и увял, что-то пробормотав — угрожающе, но под нос.

— Дадим Просто, Дю и две Машуте, — подал голос Серёжка, щурившийся на солнце, как котёнок — как будто и не он только что заморозил взглядом Тугрика. — Маш, слышишь?

— Слышу, — кивнул послушно похожая даже сейчас на куколку одиннадцатилетняя девочка. — Только можно я не буду около украинского штаба ставить? Там правда хорошие люди. Никогда не лезут и всегда по-доброму. Серёжка, можно?

— Не ставь, — хмуро ответил Серёжка.

— Я поставлю, — спокойно вызвался Дю — высокий, похожий на мальчишку-викинга из книжки, парень 13–14 лет.

— Нет, — отрезал Серёжка. — Никто там ставить не будет.

— Ясно, — так же спокойно сказал Дю.

* * *

Полусидя около стены, Боже смотрел в снятый сепаратор глушителя, как в подозрную трубу.

— Что видишь? — поинтересовался Серёжка, усаживаясь рядом со скрещенными ногами и подбрасывая футбольный мяч — когда-то чёрно-белый, а теперь чёрно-серый или даже чёрно-чёрный. Боже пожал плечами. — Конца войны не видно?

— «Сибиряки» идут, — сообщил черногорец, опуская «трубу». — Играть будете?

— Конечно, — Серёжка плавным движением встал, одновременно подбросив и снова поймав мяч. — Слушай, чего ты с нами не играешь? У вас же хороший клуб. Этот. Црвена Звезда.

— Црвена Застава, — поправил Боже. — И не у нас, а у сербов. Не, неохота.

— Как хочешь, — Серёжка пару раз стукнул мяч коленом, свистнул и пошёл навстречу спускающимся по проходу между разрушенных трибун ребятам с улицы Героев-Сибиряков. Это могло показаться диким, но вот уже несколько недель в полуразрушенном «Факеле» уцелевшие мальчишки и девчонки собирались по вечерам — гонять мяч. Настолько диким, что, когда Серёжка первый раз сообщил вечером, что идёт играть в футбол, Боже — тогда ещё не вполне оправившийся от контузии — думал, что ослышался.

А сейчас он сидел и думал, как это странно и смешно: сидеть во вражеском тылу на

разваленном стадионе посреди разрушенного трёхмесячными боями города посреди сентябрьского вечера и смотреть, как полтора десятка оборванных мальчишек сговариваются, делятся на команды, канаются на палке... Он заученными, непроизвольно-быстрыми движениями собрал «винторез» и, поднявшись на ноги, неспешно пошёл вверх — туда, откуда было видно окрестности. По опыту черноморец знал, что в такие минуты ставить «на часы» кого-то из мальчишек бесполезно: они всё равно будут смотреть на поле, пока наступающая темнота позволяет различить мяч в ногах и над головами игроков.

Позади кто-то крикнул звонко:

— Игра! — и Боже, услышав тугой удар хорошо накачанного мяча под чьей-то ногой, на миг обернулся, чтобы увидеть, как Серёжка принимает пас головой и посылает мяч дальше — к импровизированным вражеским воротам, под правую ногу Змейса.

Боже положил винтовку на колено и устроился за каменным зубцом парапета.

Очередной вечерний матч начался.

* * *

Машуту нашёл Тугрик. Когда Серёжка прибежал из развалин, где наблюдал за позициями только что переброшенного сюда молдавского батальона, опробуя новую трофейную стереотрубу, то почти все уже собрались вокруг лежащего на земле тела девочки. Стояли молча, только Тугрик сидел рядом и плакал, размазывая по лицу грязь.

Серёжка остановился, словно с разбегу налетев на каменную стену. Нет, он и раньше видел такое, он не раз видел такое, но... но привыкнуть к этому было нельзя. Вернее, он больше всего боялся привыкнуть к этому, потому что это означало бы, что он уже не вполне человек. А оставаться человеком — это единственное, что ему оставалось, если можно так сказать. Он не хотел становиться таким, как Дю — способный взять из рук человека банку консервов и, когда тот повернётся спиной, всадить под лопатку тонкий заточенный штырь, до этого скрывавшийся в шве рукава — такой фокус бывшее «юное дарование воронежской сцены», «золотой голос» Коля Дюкин проделал уже раз двадцать, не меньше.

Но сейчас... Сейчас Серёжка смотрел и даже не понимал, что Машута голая и окровавленная, потому что синий от побоев манекен, лежавший на камнях, мало имел общего с прежней Машей...

— Это её... за мины? — тихо спросила Тонна, прятавшая на животе голову Лёшки.

— Хрена там! — вскрикнул Тугрик, весь трясась. — Хрена то там за мины! Мины она поставила! Она мимо украинского штаба шла! Мимо этого грёбаного штаба! Вышли двое, позвали: «Девочка, иди сюда,» — я их не видел раньше, этих двоих, ни разу. Она зашла... И всё. Когда я обратно... через три часа... она там, за старыми бачками, лежала... уже такая... — и он тихо завыл, кусая себе руки.

— Тише, Жек, тише... — попыталась его успокоить присевшая рядом Леди Ди. — Тише, Жека, тише...

— Вы ничего не понимаете! — вскрикнул Тугрик. — Ну вы же совсем ничего не понимаете, ничего-о-о!!! Для вас она была просто... просто девчонка! А для меня... для меня... — и он опять захлебнулся слезами, вырвался из рук девчонки и, падая, скатываясь вниз, громко плача, полез куда-то по развалинам трибун.

— Завтра я пойду, — сказал Боже и закрыл тело Маши мешком, на котором разбирал трофейный М60. — Погуляю там. Около кинотеатра. Где штаб.

— Я пойду с тобой, — сказал Серёжка. И повысил голос раньше, чем кто-то из зашевелившихся ребят и девчонок открыл рот: — И больше никого!

* * *

Машуту похоронили там же, где и всех остальных погибших ребят и девчонок из

Сережкиного «Штурма» — под трибунами, где рухнувшие перекрытия образовывали большую нишу, практически незаметную снаружи. Тут было уже семь могил — а точнее, кирпичных саркофагов, залитых сверху монтажной пеной, с маленькими фанерками, на которых были написаны короткие строчки.

Тугрик пришёл, но не подходил близко, только когда Гоблин положил последний кирпич, мальчишка вдруг коротко и тихо вскрикнул. Но потом стоял молча и, когда всё было закончено, вышел первым.

— Я иногда думаю — может, они правда мутанты? — сказал Серёжка Боже, когда они вышли наружу. В небе где-то над окраиной широко и размашисто перемещались огни, вспыхивали цветные пятна, слышался отрывистый грохот — шёл воздушный бой. — Как в книжке. Захватили людей и теперь ими командуют...

— Надо ребят увести на нашу сторону, — хмуро сказал Боже. — Да и мне пора возвращаться, я же почти дезертир. И ты уходи тоже.

— Ты можешь вернуться, когда захочешь, — сказал Серёжка без обиды. — И увести с собой ребят — кого захочешь. А я останусь.

— Я могу утащить тебя силой, — заметил Боже. Серёжка посмотрел на него весело:

— Попробуй, — предложил он со смешком. Боже подумал и согласился:

— Не буду. Завтра сможешь меня прикрыть, если что? Я буду стрелять сблизу, жаль, что у нас снайперок настоящих нет.

— Прикрою, — пообещал Серёжка. — Если что.

* * *

Тугрик стоял у пахнущей химией пирамидки уже полчаса. Впрочем, он не следил за временем, он говорил с Машей. И был уверен, что она слышит. И даже слышал, как она отвечает.

Жека, сказала она. И Женька Тугаринов улыбнулся.

Теперь он знал, что надо делать. И ему совершенно не было страшно.

Маша ждала его. Он не очень понимал — где. Но совершенно точно знал — там, где они будут вместе и где он скажет ей всё, что не смел сказать тут, потому что двенадцатилетние мальчишки не говорят такого одиннадцатилетним девчонкам.

Но там — там, наверное, будет можно. Главное — сделать всё правильно.

* * *

— Перебор, — капитан Мащенко бросил карты на стол.

— Играем ещё... — начал старший лейтенант Польшов. И осекся, удивлённо глядя в дверь. Пятеро других офицеров, лениво наблюдавшие за игрой — трое украинцев, турок и американец-инструктор — обернулись тоже.

— Это что за явление? — спросил один из украинцев.

В дверях стоял мальчишка. Невысокий, темноволосый, с грязными разводами на лице. Мальчишка улыбался радостно и светло. И сказал, кивая Польшову:

— Во, вы здесь... — обвёл остальных взглядом, — все. Это хорошо.

Мальчишка с натугой держал в руке связку — противотанковую РКГ, два двухсотграммовых брикета тола и две старых РГ-42. Кольцо из одной было выдернуто, и мальчишка второй рукой придерживал скобу предохранителя.

— Вэр из э вотчер? — спросил, поднимаясь, американец — он, надо отдать ему должное, первым понял, что происходит. — Тчасовой...

— Я ему бритвой горло перерезал, — охотно пояснил мальчишка. И кивнул на дверь, за которой раздался шум: — Во, бегут уже... Ну ничего... А я за вами, дяденьки. Вам пора.

— Куда? — ошалело спросил Мащенко, не веря, что это происходит на самом деле.

— Вам в ад, — сказал мальчишка. — А мне... мне к маме и к Маше...

...Трое успевших взбежать на крыльцо временного барака солдат погибли на месте. Остальные видели, как дюралевые стены раздулись изнутри — и взорвались в бело-рыжей вспышке страшного взрыва.

* * *

Сидя на футбольном мяче, Серёжка Лукьянов плакал. Он не хотел этого делать и не собирался этого делать, но слёзы текли и текли по щекам, капали на кроссовки, на пыльные обломки бетона и кирпича. Эти слёзы были такими естественными, что он даже не попытался их вытереть, когда подошедшие «сибиряки» — двое мальчишек и девчонка — постояв рядом молча, спросили — девчонка спросила:

— Мы сегодня не будем играть?

— Почему? — Серёжка поднял мокрое лицо. — Будем, — и встал, подбрасывая в руки мяч. — Пошли канаться.

— Я с вами, — сказал Боже, вставая с каменной тумбы неподалёку...

— Игра!

Звонко бумкнул хорошо накачанный мяч.

* * *

Димка был дома. Сидел за столом и читал растрёпанную пачку листов А4 при свете керосиновой лампы.

— А мамы нет, — объявил он, оглянувшись на вошедшего надсотника. — У неё педсовет.

— Да? — немного растерянно спросил Верещагин, ставя на пол американскую поясную сумку. — Вот как... А она говорила...

— Да его в последний момент назначили, — Димка сел удобнее. — А когда вы с позиций уходите, вам не влетает?

Надсотник насторожился — ему почудился в вопросе какой-то подвох.

— Ну-у... — начал он. — Вообще-то увольнительные у нас есть... а я их ещё и сам выписываю... кроме того, активных боевых действий нет, а до позиций тут десять минут бегом... — он понял, что говорит неубедительно и отрезал: — Нет. Не влетает. А тебе не влетает, что ты керосин жжёшь? — снимая жилет и ремень, он подошёл к столу, присел на расшатанный стул.

— Влетает, — охотно ответил Димка. И опасливо примолк. Потом сказал: — А вы не расскажете? Книжка интересная...

— Какая, если не секрет? — Верещагин подался чуть вперёд.

— Вот, — мальчишка пододвинул прочитанные листки. — Ну, вообще это не книжка, а... распечатка из Интернета. Мы новое помещение под штаб расчищали, я нашёл. Только у неё конца нет... — Димка вздохнул. — Я посмотрел. А мне всего три листа осталось — и на самом интересном месте...

Он ещё что-то говорил. Но Верещагин не слушал, с удивлением глядя на распечатку — «Таймсом», 11-й номер — которую кто-то когда-то сделал с хорошее ему известного сайта www.zhurnal.lib.ru.

Валерич, Отто Макс Люггер, Шепелёв Алексей —

гласил заголовок,

ГРАНИ

— Дай-ка, — он взял у мальчишки последний лист и прочёл вслух: «— Слышь,

Шустрик, а ты правда на меня больше не злишься? — За навоз? — уточнил Серёжка. — Ага, — смущённо подтвердил Кау. Мальчишка сделал короткую паузу, а потом честно ответил: — Не злюсь. Раз уж мы теперь одна команда, то чего злиться. Тогда уж надо было отказываться. А соглашаться и злобу таить — это нечестно. — Странный ты какой-то со своей честностью, — признался рыжий». А дальше я знаю, — сказал надсотник, возвращая листки Димке.

— Знаете? — тот поднял брови. — Правда?

— Дочитывай, — Верещагин вытянул ноги в серых ботинках и откинулся на спинку стула, — и я расскажу. Это можно и без света. Надо же мне дождаться Ле... твою маму.

СНЕГА

К трём утра температура упала до минус тридцати пяти. Одичало светила над заснеженными полями полная луна, белёсая от мороза, в радужном круге. Перемигивались звёзды. Сиял снег — как россыпи бриллиантов.

Всхлипывающий человек брёл через поле по бёдра в снегу. Вспахивал целину, как уставший плуг, оставляя за собой глубокую чёрную борозду. Останавливался через каждые несколько мучительных шагов, тяжело, со свистом дышал — и тогда мокрые волосы, выбившиеся из-под отороченного мехом капюшона белой парки тут же схватывал лёд. Человек хрипел и брёл дальше, по временам падая. Упав, он долго и медленно возился в снегу, вставал. Снег сыпался с него, сухо и враждебно шурша.

Четыре часа назад он ехал в колонне, в тёплом салоне «Кугара». А потом... потом... что было потом — он не очень помнил. Взрывы. Крики. Выстрелы. Мелькание теней, вспыхнувший огонь... Он успел вывалиться из машины за несколько секунд до того, как молодой оскаленный парень — с непокрытой головой — с обочины всадил в «Кугар» гранату и захохотал.

Человек был солдатом. Но в тот момент испытал такой страх, что бросил винтовку и побежал в поле. Его не заметили. А он бежал, падал, полз, вскакивал, опять бежал — а сзади грохотало, ревели и выло, взрывалось, горело...

Но он уже давно не слышал отзвуков боя на дороге. Вот уже три часа кругом был только снег, только мороз, только смеющаяся над ним — как тот парень на дороге — луна в призрачном небе.

Мороз... Он — родившийся и выросший во флоридском Орландо — никогда не мог представить себе, что может быть такой мороз. Что может быть такая страшная луна. Что может быть такое ужасное белое поле. Что всё это вообще может случиться с ним!!!

— Будьте вы прокляты... будьте прокляты... — шептал он, размазывая рукавицей слёзы (рукавица давно залубенела от льда, щёки и нос у него были отморожены, но он этого не замечал). Он и сам не знал, кого проклинал. Не русских, нет...

Священник говорил, что в аду вечный огонь. Но он теперь знал — знал точно! — что в аду есть только снежная равнина со смеющейся луной над ней.

Он снова упал и пополз. Пополз, утопая в снегу. Потом заставил себя встать на колени и двигался так, пока не услышал...

Под лыжами пел снег! Люди! Он обернулся и не испытал ничего, кроме радости, увидев, как по полю к нему стремительно приближаются — словно летя над снегом — два человека. Он попытался встать с колен, но не смог и просто замахал руками, сорванно крича. Это могли быть только русские. Но пусть. Пусть они — лишь бы не это кошмарное поле...

Легко бежавшие на охотничьих лыжах люди — в белых накидках, горбящихся на рюкзаках, в ушанках, с висящими поперёк груди «калашами» — остановились около плачущего солдата, стоящего в снегу на коленях.

— О, ещё один, — сказал молодой парнишка, улыбаясь. — Далеко уполз... — и перекинул в руки, ловко сбросив с них повисшие на петлях рукавицы, автомат. Его спутник — уже пожилой, усатый — наклонил ствол вниз и сказал:

— Да чёрт с ним. Пусть и дальше ползёт.

— Пусть, — легко согласился молодой. И, бросая автомат на ремень, махнул американцу рукой: — Э, слышишь? Гоу. Гоу, гоу. Иди, куда хочешь.

Солдат что-то забормотал, протягивая к русским руки, но они уже уносились прочь на лыжах — быстрым скользящим шагом. Он попытался встать — и не смог. Хотел крикнуть — и не смог тоже...

...Он остался стоять в снегу на коленях, глядя, как сияет бесконечное поле и смеётся луна, которой подмигивают звёзды.



Отряд. Терское казачье войско

* * *

Отряд двигался на Боровое.

Впереди на рысях шла конная полусотня разведки. Бесшумными тенями скользили слева и справа от дороги группы лыжников — на буксире за снегоходами, и машины вминали в снег уже успевшие промёрзнуть тела оккупантов из разгромленного вечером рамоньского гарнизона, пытавшихся укрыться в лесу. Дальше шли по дороге машины — УАЗы с установленными на них «Утёсами», АГС и безоткатками, «ГАЗели» с миномётами и самодельными установками ПЗРК и ПТРК в кузовах, 66-е со спаренными 23-миллиметровками и счетверёнными 14,5-мм КПВТ. Снайперские пары, расчёты гранатомётов и «Шмелей», егеря сидели в теплых кунгах. Замыкала отряд ещё одна конная полусотня.

Отряд Батяни — бригада «Вихрь» — насчитывал по последним данным 2237 человек. И над его штабным «Гусаром» вызывающе, как на параде, развевалось чёрно-жёлто-белое знамя с алой надписью наискось:

ВРАГАМ РОССИИ — СМЕРТЬ!

Батяня — в прошлом майор Евгений Ларионов — задумчиво смотрел в окно. Где-то в этих местах полгода назад погибла его семья. Всем он говорил — пропала без вести. Но сам понимал — погибла... И старался думать только о том, что видит и чем живёт сейчас. В эту минуту.

Не появятся над колонной чёрные кресты штурмовиков. Не нагрянут киношно-лихие спецназовцы. Не преградит дорогу чужая бронетехника. Кончилось их время! Холодно, суки, холодно вам — и густеет смазка, и глохнут моторы, и рассыпаются гусеницы, и осекается оружие в замёрзших руках, и Седой Бог снова сражается за Россию. А мы — мы выживем. Не замёрзнем. Протянем. Мы — русские. В России живём. Не пропадём, только сейчас — вперёд!

Отряд Батяни шёл на Боровое, чтобы пробить блокаду Воронежа, установить прочную связь с гарнизоном и начать активные наступательные действия под командой генерал-лейтенанта Ромашова.

* * *

В помещении было холодно — не выше +10...12 градусов по Цельсию. Но сидящим за столом офицерам и это казалось благом — в их собственных штабах температура держалась куда ниже. Временами кто-то сдержанно кашлял или шевелился, но в целом стояла тишина — такая, что голос четырёхзвёздного генерала Пола Эмери, командующего миссией НАТО-ООН в Воронеже, звучал невероятно ясно и чётко, хотя американец говорил негромко:

— Таким образом, мы поставлены перед фактом. Русские войска и части наёмников вышли на востоке, — огонёк лазерной указки метнулся к карте, с лёгким шорохом туда же повернулись головы, — на правобережье Волги. На севере — подходят к Нижнему Новгороду. На юге — к Саратову. Украинско-белорусская армия взяла Люблин. Наши польские части сражаться отказываются и требуют вернуть их домой. Украинцы перебегают к русским массово. Почти все части ООН сражаются только под прицелом наших пулемётов. Не далее как вчера морские пехотинцы вынуждены были расстрелять из скорострельных пушек почти две сотни египетских солдат, намеревавшихся силой захватить транспортные самолёты...

— Сэр, это бесполезно, — сказал угрюмо бригадир ВВС. — Ни для кого не секрет, что воздушного моста не существует. Аэродром у русских, и они на него принимают, что хотят. А мы дай бог сажаем один самолёт в два-три дня. Остальные падают над лесами, в которых полно партизан с ракетами...

— Это не партизаны, — поднял голову румынский полковник. — Нам пора взглянуть правде в глаза. В блокаде не русские, в блокаде мы. В лесах вокруг нас настоящая армия — не менее восьми тысяч человек. В городе — больше двенадцати тысяч защитников. У нас людей примерно столько же, но и топлива, и боеприпасов, и снаряжения, и продуктов у них сейчас больше. И их самих больше с каждым днём. А нас меньше и меньше... Как вы думаете, господа, — румын вдруг порывисто встал, — пощадят ли нас русские, если...

— Полковник Станеску! — повысил голос Эмери.

Но румын — его лицо вдруг исказилось — крикнул в ответ:

— Не кричите на меня, господин генерал! Лучше скажите, как дела на вашей исторической родине?! Говорят, что бои между гражданскими гвардейцами и чёрными братьями идут в двадцати пяти штатах из пятидесяти, а двадцать штатов вы не контролируете вообще?! Я знаю, что вы собираетесь делать! — от ярости и волнения речь румына стала неразборчивой, он сбивался на родной язык и бурно жестикулировал. — Вам готовят эвакуацию, потому что солдаты нужны в Америке! А нас вы бросите здесь — чтобы мы прикрыли ваше бегство и были растерзаны русскими! Но я не хочу этого! Идите к дьяволу! Мы, румыны, не торговали детьми, женщинами и органами, не вывозили золото и документацию! И мы не хотим сдохнуть!

— Вы забываетесь! — багровея, закричал американец. Офицеры повскакали, помещение наполнилось разноголосым злым шумом.

Станеску кричал, размахивая какими-то листками:

— Вот! Их пионеры подбрасывают это на все позиции! На все, на все, только многие это скрывают! И скрывают, что солдаты это читают! — он ударил ладонью по листкам и выкрикнул: «Мы победили и можем позволить себе быть гуманными. Любой боец оккупационных войск, вышедший к нам без оружия и с куском белой материи в поднятой вверх правой руке, будет взят в плен с соблюдением всех международных норм и выслан на родину, как только окончатся боевые действия!» Они это пишут и они это выполняют! У меня сейчас тысяча восемьсот сорок семь человек под командой! Дезертируют по пять-шесть

в день! И часовые не стреляют им вслед, а иногда сами уходят с беглецами! Кончится тем, что и я...

Охнув, полковник Станеску повалился на пол — между раздавшихся в стороны офицеров. Эмери с яростным лицом опускал руку с «Береттой»; в зал ворвались морские пехотинцы — с примкнутыми ко взятым наперевес винтовкам штыками.

— И так с каждым! — прохрипел четырёхзвёздный генерал. — Слышите?! С каждым!

* * *

В безветренном и безоблачном небе нехотя вставало холодное солнце. Снег на развалинах алел, и только неподалёку, где торчали угловатой горой обломки упавшего ночью F-16, он чернел гарью.

С отвращением окинув взглядом всё вокруг, генерал Эмери сделал шаг к своему «Хаммеру».

Последний шаг в своей жизни.

Пуля, прилетевшая из развалин, ударила американца между глаз.

Раньше, чем он упал на снег, охрана залегла и открыла ураганный огонь во все стороны. Не меньше минуты не смолкала стрельба — и только когда стихла, стало слышно, как в снегу шипят гильзы и тяжело дышат люди.

Капитан, начальник охраны, приподнявшись на локтях, огляделся. Облизнул губы. Посмотрел на убитого генерала. Снова на развалины.

И не отдал приказа идти на поиск.

* * *

Боже лежал неподвижно. Он видел, как упал Эмери, но его это не волновало сейчас. Он вытер затвор трофейного «Паркера» рукавицей. Потом приложил ко лбу горсть снега — и тот сразу начал таять, хотя сперва обжёг руку.

Руки ещё чувствовали. Руки он берёт.

Боже оглянулся на свои ноги. Медленная кривая улыбка поползла по его губам.

Раненые, потом отмороженные, поражённые гангреной уже под колено, они казались чужими и почти не беспокоили парня. Вот только этот жар... Боже осознавал, что рано или поздно он потеряет сознание — с ним это уже случалось несколько раз — только это будет навсегда.

Ну что ж.

Если о чём он и жалел — так это о том, что не смог отбить тогда — во время бешеной облавы, когда НАТОвцы убивали уже всех подряд, кого находили — ребят. И ещё — что не знал, уцелел ли Серёжка Ларионов.

С тех пор уже восемь дней он полз по эти развалинам. И стрелял, едва представлялась возможность — стрелял прицельно и беспощадно, наводя ужас на и без того доведённых до отчаянья оккупантов, не осмеливавшихся больше прочёсывать развалины в поисках страшных призраков.

Он видел, как расстреливали взбунтовавшихся египтян. Видел, как отряды наёмников, выйдя из подчинения командования, перебили ООНовских «контролёров», пошли на прорыв — цепочки отчаявшихся людей на бело-чёрных развалинах, очереди русских пулемётов, красное на снегу...

Ещё он понимал, что умирает.

А ещё — что победа близка.

Лёжа в промёрзлой, заснеженной нише, Боже шептал:

— А Цар Славе сједи на престолу,
Док са земле грми ко олуја,

То Србија кличе — АЛИЛУЈА!
Благо мајци која Саву роди
И Србима док их Саво води...

Он шептал строки «Небесной литургии» и улыбался.

* * *

— Юрко. Юрко.

Юрка Климов поднял голову и сердито спросил плутоньера Флореску:

— Ну чего надо?

Спросил по-румынски — от нечего делать и от тоски он выучил за последние месяцы этот язык — месяцы лежания в румынском госпитале, потом — бессмысленного сидения в полуплену-полугостях на гауптвахте бригады... Несколько раз пытался бежать — но это оказалось в сто раз труднее, чем из лагеря, хотя румыны ни разу не тронули его даже пальцем, когда ловили и запихивали обратно.

Плутоньер сел рядом. Мучительным жестом раздёрнул ворот парки. Выдохнул. Сказал:

— Американцы убили полковника Станеску. Прямо на совещании.

— Ну а чего вы ожидали? — довольно бессердечно спросил Климов. Плутоньер не обратил внимания:

— Офицеры раньше колебались... А сейчас... Я им про тебя сказал, — он прямо взглянул на мальчишку. — Юрко. У меня дома жена и трое ребятишек. Там голод, Юрко. Без меня они пропадут. Или придут болгары и всех перебьют.

— Ты хочешь, чтобы я тебя пожалел? — перейдя на русский, Юрка встал. Плутоньер смотрел на него снизу вверх. — Ты. Хочешь. Чтобы. Я. Тебя. Пожалел? — в голосе парня звучало изумлённое потрясение, недоверие. — Зачем ты пришёл?! — заорал Климов. — Вы убили всю мою семью! Вы чуть не убили меня! Зачем вы меня спасли?!

Последнее он спросил по-румынски.

— Я... — плутоньер опустил голову. — Ты можешь не верить. Я просто пожалел тебя. Тогда.

— Пожалел, — горько сказал Юрка, садясь на нары. — Пожалел. Нужна мне была ваша жалость. Сволочи вы. Откупиться думаете?

— Думай, как хочешь, — покорно сказал плутоньер. — Офицеры сказали, чтобы я тебя отпустил. И просили, чтобы...

— Чтобы я там замолвил за вас словечко, — закончил Юрка.

— Ты можешь просто уйти, — тихо сказал румын. — Никто не выстрелит. Уходи мальчик... и предоставь нас нашей судьбе и праведному воздаянию Господа, которого мы продали за доллары. Дверь открыта. Я сошёл с ума, когда просил тебя... после всего, что...

Он замолчал и сжал голову руками.

Юрка долго смотрел на него. И вдруг чутким инстинктом ещё совсем не взрослого человека, не логикой — душой! — понял — румын не лжёт, не притворяется, не бьёт на жалость, не играет.

— Дядя Стефан, — тихо сказал Юрка, касаясь его плеча. — Дядя Стефан... пошли к вашим офицерам. Будем говорить. Слышишь, вставай. Пошли, — и добавил, поднимаясь: — Хватит уже этого... всего.

* * *

— Товарищи офицеры, генерал Ромашов.

Два десятка офицеров РНВ, казаков и десантников поднялись, подтягиваясь. В тесном помещении кабинета командующего обороной сразу стало ещё теснее, чем было до этого — когда они сидели.

Вошедший генерал взмахом руки разрешил всем садиться и сел сам. Положил перед собой на стол кулаки. Какое-то время молчал, потом откинулся на спинку кресла и заговорил, глядя по очереди в лицо каждому:

— Итак. Через два часа ваши подразделения должны быть сосредоточены вдоль Елецкой дороги — около Борового. Воздушное прикрытие будут осуществлять шесть Ми-24 и один Ми-28 — все вертолёты, которые есть в нашем распоряжении... Ни один из трофейных «апачей» поднять не удалось. Но я думаю, что этого вполне достаточно. В данный момент, — Ромашов бросил взгляд на часы, — бригада Батяни сосредотачивается вдоль Усманки, на обоих берегах, в двух километрах от Борового. Подозреваю, что противнику об этом известно — кое-кто из гарнизона Рамони успел добраться до Борового. Но, — генерал встал, — это уже не имеет значения. Ни-ка-ко-го. Сделать они ничего не могут.

Офицеры поднялись молча. Генерал снова обвёл их лица взглядом. И вдруг совершенно по-штатски развёл руками:

— Думаю, что это конец блокады, ребята.

— Ура! — вдруг крикнул кто-то. Лицо генерала стало удивлённым, но... но через несколько секунд кричали уже все — как будто впереди был не бой, а праздник.

* * *

С потолка капал холодный конденсат. Стены были покрыты колючим длинным инеем, острым и красивым. На полу тут и там стыли чёрные лужи.

Стоя на коленях возле маленького окошка, Серёжка Ларионов разбитыми губами улыбался наступающему дню.

Снаружи слышалась ругань, удар ноги с треском захлопнул наружную ставню. Подвал погрузился в почти полную темноту. В этой темноте слышался веселый голос Сережки:

— Забегали, сволочи.

Ему не откликнулись.

В подвале находились все те из отряда «Штурм», кто уцелел после недавней облавы — кроме Серёжки — Вовка Гоблин, Дю, Леди Ди, Лёшка, Сашок, Пикча и Чикса. И Серёжка не мог их винить в том, что они молчат.

Лёшка не мог говорить — на одном из допросов ему вырвали язык, когда увидели, что десятилетний мальчишка упрямо молчит, даже не кричит. Так и промолчишь до конца жизни, посмеялись они. Сперва Лёшка мычал и постоянно возился от боли, но кровь долго не унималась, и он ослабел — теперь только стонал тихонько, лежа головой на коленках Леди Ди. И она, и Чикса, были не только избиты, но ещё и много раз изнасилованы — и всё-таки находили силы кое-как заботиться о мальчишках. Вовке перебили ноги и руки и сожгли грудь почти до рёбер. Пикчу тоже изнасиловали и били резиновой палкой так, что он то и дело непроизвольно мочился с кровью. У Сашка были обожжены руки и выбиты почти все зубы. Дю вырезали на груди и спине пятиконечную звезду. Простужены были все, и никто не замёрз и не обморозился сильно только потому, что в углу оказалась куча какого-то грязного барахла, в которое они зарывались, прижимаясь друг к другу. А иногда трубы отопления начинали гудеть, как сейчас — и температура поднималась.

С Серёжкой обращались сперва почти вежливо. Он подозревал, что из-за его командирства. И был почти уверен, что его заложил Бакс — недаром он не вернулся с первого допроса. Если честно, то Серёжка на Бакса даже не злился — хорошо помнил, как почти упал в обморок, когда ему продемонстрировали «набор инструментов».

Странно. Оказалось, что и это можно вытерпеть. Хотя думалось — что невозможно. А теперь, кажется, всё подходило к концу. Их не трогали уже почти сутки. И это могло значить только одно...

Что скоро за ними придут в последний раз.

Серёжка напился из одной лужи — вода была холодной, снеговой, безвкусной. Помог Леди Ди сменить тряпку на лице. Сел — и закусил губу от боли. Судя по всему, на последнем допросе отбили почки...

Ладно. Почти всё.

— Что они там? — спросил Дю. — Говоришь, забегали?

— Угу, — кивнул Серёжка. — Кажется, наши жмут. Мы же это знали, да?

— Знали, — тихо ответил Вовка. Леди Ди погладила по лицу вздрагивающего Лёшку и тоже сказала:

— Знали.

Остальные промолчали, но Серёжка уловил — они не отвечают так же только из-за усталости и боли. А жалеть... что ж, не жалеет никто. Или, может быть, надеются, что в последний момент... как в кино...

Серёжка прислушался к себе. Нет, в нём этой надежды не было. Но было нечто большее, честное слово. Уверенность в том, что всё было сделано всё-таки правильно.

Он прислонился лбом к ледяной стене. Закрыв глаза. «Мамочка, если бы ты знала, как мне больно и... и страшно, мамочка. Я знаю, мамочка, ты жива. И ты, и Катька. А мы с папкой погибли. Но ты не плачь. Не надо плакать. Мы были мужчины и мы погибли, как мужчины...»

— Серый, я там нацарапала, — сказала Чикса. Серёжка вздрогнул и открыл глаза. — На стене. Ну... чтобы как бы знали. Когда придут. Ты посмотри.

Вставать не хотелось. Но Серёжка оставался командиром. Он встал и пошёл за Чиксой — в дальний угол подвала. Там, где узкие полосы света падали на кирпичи, девчонка чем-то выпцарапала — Серёжка напряг зрение, чтобы прочесть...

17 января 20... года отсюда ушли умирать разведчики отряда «Штурм»:

— Сергей Ларионов, 12 лет.

— Владимир Тихонов, 12 лет.

— Николай Дюкин, 14 лет.

— Диана Максимова, 14 лет.

— Алексей Тишкин, 10 лет.

— Александр Кузнецов, 11 лет.

— Николай Пашутенко, 12 лет.

— Дарья Чиркова, 12 лет.

Здравствуйте, наши. Мы ничего не сказали.

— Про Бакса я ничего писать не стала... — Чикса вздохнула.

Серёжка кивнул:

— Ну... всё правильно. Я не знаю, что тут ещё можно... так и надо, наверное. Молодец.

— Мне страшно... — прошептала Чикса и взяла Серёжку за руку. — Серый... а наши правда победят?

— Да, — коротко и непреклонно ответил Серёжка. Чикса вздохнула:

— Хорошо... Жалко, что мы не увидим. Ну. Как дальше будет.

— Ничего, — сказал Серёжка, сглатывая.

— Серый... — помедлив, сказала девчонка, — ты меня, пожалуйста, держи за руку, когда нас будут расстреливать. Хорошо?

— Конечно, — пообещал Серёжка.

И они опять сидели на мокром барахле и слушали, как снаружи гремят взрывы — всё ближе и ближе, практически рядом.

— Жмут, — сказал Пикча. — Близко уже.

Все они переглянулись. Дю встал, шатаясь, подошёл к закрытому окну. Взялся руками за решётку.

— Я вижу, брат, не даром

Ты русским родился!
Сегодня нам по-старому,
По-рабски жить нельзя!
В ответе мы с тобою
За родину свою!
Пришла команда: «К бою!»
И мы —
В строю!

Сперва вздрогнули все. А Колька пел — пел так, как, наверное, никогда не пел песен на всех тех конкурсах, лауреатом и победителем которых был ещё недавно, совсем недавно — отчаянно и весело...

— Русские идут
Твёрдым шагом!
Реют на ветру
Волны стягов!
Радостно и зло
Слышно там и тут:
«Русские идут!
Русские идут!»

Снаружи ударили по ставне ногой. На ломаном русском приказали замолчать. Но Колька засмеялся и крикнул:

— Русские идут -
Но не для парада!
На своей земле наводить
Порядок!
И врагам Руси
Наступает
Суд!
Русские идут!
Русские идут!

За дверью грохнул засов. Дю обернулся. Серёжка задержал дыхание и сказал громко:
— Это за нами. Встаём, ребята.

* * *

Сбитый над самой окраиной Ми-24 рухнул в развалины боком, бешено молотя лопастями воздух — подскочил и почти тут же взорвался, расплёскивая жидкое пламя. Дружинники перебежали дорогу наискось — серые тени, в рассветном зимнем сумраке казавшиеся чёрными — строча от животов. Подтянув к себе за ворот Земцова, Верещагин прокричал в улыбающееся бородатое лицо:

— Ставь пулемёты на колокольню! — отмашка в сторону церкви. — Давай, на все ярусы! Ни хрена они нам сейчас не сделают, ставь!

— А счас! — Земцов, пригибаясь, канул в сумрак. Подбежавший Пашка указал рукой в улицу:

— Всё! Казаки на площади! Кольцо!

— Ракету! — Верещагин сбросил капюшон куртки. Сверкнув улыбкой, вестовой достал из-за пояса ракетницу, и алый воющий огонь взлетел вверх. Через секунду такие же

поднялись над левым и правым флангом — а где-то впереди взмыли три зелёные ракеты.

— Партизаны! — крикнул Пашка, бросая ракетницу в снег.

— Держись сзади, я тебе говорю! — надсотник отпихнул вестового за спину. — Попробуй вперёд полезть!

Подняв автомат, он сменил магазин на снаряженный трассерами и веером выпустил в сторону горящих домов, по которым продолжали молотить не жалевшие боеприпасов гранатомётчики, зелёный вихрь. Опять сменил магазин — и первым бросился по истоптанному неглубокому снегу на штурм Борового.

* * *

Совсем недалеко, на площади, как будто вышедшие из прошлого всадники рубили мерцающими алым в рассветном воздухе шашками разбегающихся лёгких пехотинцев гарнизона. Тут и там в снегу стояли, высоко подняв руки и бросив безнадежно заевшие М16, сдающиеся. Но Верещагин заметил это краем глаза — из дома, возле которого он лежал, ещё бил пулемёт, и, уткнувшись головой в алый снег, корчился, стоя на коленях совсем рядом, его, Верещагина, дружинник.

— Давай, — надсотник хлопнул по плечу бойца, вооружённого «шмелём». Тот встал на колено под прикрытием угла, нажал спуск — и через секунду термобарическая граната, лопнув внутри, обвалила крышу вывалила всю стену фасада. — Вперёд! — рыкнул Верещагин, с колена швыряя в клубящийся огонь РГД и бросаясь следом. Перескочил через оглушённого американца. С налёту ударил всем телом другого — ошалело-медленно поднимающего карабин, свалил, привстал, ударил прикладом в лоб. Перекатился к горящим дверям в соседнюю комнату — засыпанную обломками, но относительно целую.

Сразу за порогом полусидел офицер — с погонами капитана, в окровавленной на правом боку куртке. Тяжело дыша, он смотрел на Верещагина пустыми глазами, держа в правой руке не оружие, а фотографию. Скользя взглядом по направленному в лоб автомату, американец поцеловал снимок и, уронив руку с ним на колено, сказал — Верещагин понял его задыхающийся голос:

— Стреляйте.

На снимке женщина на фоне красивого дома обнимала за плечи троих смеющихся мальчишек — примерно 4, 7 и 10 лет.

— Это ваши дети и жена? — спросил Верещагин, сам поражаясь идиотизму ситуации. В глазах американца — красных, безмерно усталых — появилось удивление:

— Да... — ответил он. — Это были мои жена и дети.

— Были? — надсотник слышал, как совсем рядом стреляют и ругаются на двух языках.

— Жену и младших сожгли вместе с домом чёрные братья, — сказал капитан. — А Том... старший... где-то в горах Аризоны. Вместе с партизанами Лэйкока.

Господи, подумал Верещагин.

— Вставайте, — сказал он. — Вставайте, капитан. Вы пленный... Пашка! — крикнул он через плечо, заметив подбежавшего вестового. — Помоги раненому. И отконвоируй его в тыл.

* * *

Дружинники братались с партизанами. Куда-то гнали колонну пленных, лежали трупы, горели дома и машины. Рослый офицер с непокрытой головой сперва стиснул Верещагина так, что тот не только не смог ответить на объятье, но и дышать-то разучился на какое-то время, потом, с улыбкой отстранившись, отдал честь:

— Командир партизанской бригады «Вихрь» Ларионов!

— Командир седьмой егерской дружины РНВ Верещагин, — отдышался наконец надсотник и теперь уже первым обнял партизана, выдохнув: — Здорово, брат!

— Здорово, брат! — Ларионов снова стиснул чзэбэшника. — Фу, дошли.

Мужчины отстранились, по-прежнему улыбаясь друг другу.

— Я тут развернул свой штаб, — Ларионов кивнул на старую церковь, — давай туда пойдём, что ли?

— Серёга! — окликнул Верещагин Земцова. — Давай, собирай командиров туда! — и махнул в сторону церкви.

Возле красных кирпичных стен кладки XIX века несколько человек — не из дружины Верещагина — сваливали в кучу и поливали бензином лазерные диски в ярких коробках, какие-то пачки глянцевого журналов... Ларионов на ходу подобрал несколько, хмыкнул, передал один надсотнику. Тот посмотрел, брезгливо отбросил обратно:

— Надолго собирались устраиваться.

— А заметь, какие имена, — недобро усмехнулся партизан. — Довоенные властители дум и эстрады. Почти поголовно успели подсуеиться к новым хозяевам. Вон какие тиражи насшибали...

— Дождёмся, — Верещагин безразлично посмотрел, как несколько человек сшибают замок с какого-то подвала, — они ещё полезут наверх, твердить будут, как врага изнутри разлагали...

— Х...й им, — и Ларионов показал неприлично огромную фигу. — Вот теперь — х...й... Это что там делается?!

Пролезшие наконец в подвал партизаны с матом вытаскивали наружу каких-то людей — с матом, но бережно. Офицеры подошли ближе.

— Что тут такое?! — крикнул Ларионов. Казачий есаул-терец, командовавший всем этим, повернул к офицерам перекошенное болью и гневом лицо — совершенно чеченское, острое и лупоглазое. Почти крикнул:

— Да вы гляньте, что они с детишками сделали!!!

Из подвала в самом деле выносили и выводили детей — с десятков, около того, босых, в окровавленных лохмотьях, избитых и изуродованных, плачущих. Казаки с матом кутали их в сорванную с себя тёплую одежду. Кто-то, увидев идущих мимо под конвоем дружинников пленных, заорал истошно:

— Бить гадов! — в ответ ему согласно взревели остальные.

— Назад! — Верещагин встал на пути, поднимая руки. Окажись в них оружие — его бы смяли. А так — разъярённые казаки остановились. — Казаки, вы меня знаете! — надсаживаясь, закричал надсотник, раскинув руки в стороны. Американцы в ужасе жались за спины хмурых конвоиров, явно готовых отойти в сторону. — Казаки, не надо! Гляньте на них — вы же потом сами себя стыдиться будете! Стой, не надо! Казаки!

— А звёзды на пацанах резать надо?! — заорал кто-то. — А девчонку, малолетку совсем — надо?! Бе-ей!!!

— Стой! — отчаянно крикнул надсотник. — Казаки! Мы же воины! Мы за Родину воюем! Так что ж мы пачкаться будем! Пусть их судят!

— Уйди, надсотник! — перед лицом Верещагина качнулся ствол. Офицер засмеялся:

— Ну давай, эти меня не убили, так вы прикончите! Стреляй, казаки — а пленных убивать не дам!

Минута ползла долго-долго. Остервенело хрипело дыхание казаков. Кто-то из американцев громко молился.

— Тьфу! — плюнул наконец есаул. — А!

Ворча и переругиваясь, казаки стали возвращаться к церкви. Верещагин перевёл дыхание, бледно улыбаясь, пошёл следом.

— Вот чёрт, думал — пришибёт казачья бешеная... — начал он, обращаясь к Ларионову. И только теперь увидел, что комбриг-партизан стоит на коленях в снегу, держа на руках укутанного в две куртки мальчишку — так, что торчали только грязные вихры и часть залитой синяком щеки. Ларионов плакал и шептал:

— Серёжа... сыночка... Серёжка, родненький, как же они тебя...

А мальчишка на его руках шептал — пар дыхания валил в воздух:

— Я ничего... папа... я ничего... остальным помогите, а я ничего... — и вдруг, вцепившись в отца чёрными от засохшей крови руками, закричал почти истерически: — Па-па-а-а, миленький, папа, не бросай меня больше, не бросай, не бросай!!!

Крик был невыносим, ужасен и в то же время полон такой дикой радостью, что надсотника пошатнуло.

Верещагин отошёл в сторону и, сев на обломок стены, закрыл глаза...

...Так — сидящим на кирпичах — его нашёл Пашка, притащивший термос с кофе.

* * *

Белый потолок. Он умер? Всё-таки умер. Значит, где-то тут должны быть мать, отец, сестрёнки... Но почему так хочется пить? И ещё... Где-то разговаривают...

— Сестра, серб очнулся!

По-русски.

Боже хотел сказать, что он не серб, а черногорец. Но вместо этого спросил по-русски у женского лица, всплывшего на белом фоне:

— У меня целы ноги?



Юные партизаны? Клуб им. Александра Невского

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Над Воронежским морем дул резкий тёплый ветер. Взбивал воду белыми весёлыми гребнями, посвистывал в зелёных кронах молодых деревьев вдоль берега, раскачивал их из стороны в сторону и рвал чёрно-жёлто-белые полотнища на новом, только-только отстроенном Новом — бывшем Северном — мосту. Даже отсюда — со Спортивной — были видно, как туго натянут — словно фанерный лист — транспарант с яркой надписью:

С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ГОРОД!!!

Немолодой, грузноватый человек в серо-зелёном костюме стоял на набережной, опираясь руками на чугунные перила. Он смотрел не на празднично разукрашенный мост, а в другую сторону — туда, где между ещё не до конца расчищенными руинами виднелись в юной зелени только-только садилов двухквартирные дома-одноэтажки Славянского района.

Мимо проскочила девчонка. За ней с угрожающими воплями неслись не меньше полудюжины мальчишек, дружным хором грозивших ей страшными карами. Девчонка, на

бегу обернувшись, пронзительно крикнула:

— Коротконогие! В-в-вэээ! — и, показав длинный, свёрнутый трубочкой язык, наддала ещё быстрее. Мальчишки пронеслись следом плотным, упорно сопящим табунчиком.

Человек усмехнулся. Посмотрел на большие часы, огляделся с лёгкой озабоченностью и, вздохнув, повернулся, стал смотреть уже на мост.

— Простите, прикурить не будет? — услышал он обращённый к нему вопрос и нехотя повернулся. Высокий мужчина, одетый в серую «тройку», в сером кепи, с извиняющейся улыбкой держал в пальцах длинную сигарету.

Кивнув, человек в серо-зелёном достал из кармана небольшую зажигалку-патрон. Щёлкнул колёсиком.

— Благодарю, — кивнул мужчина в кепи, с наслаждением затягиваясь. — Извините.

Снова кивок. Было видно, что человеку в серо-зелёном хочется побыть одному. И побеспокоивший его вроде бы понял это — сделал несколько шагов... но вдруг остановился и, резко обернувшись, громко спросил:

— Подождите, постойте... Вы же Верещагин? Ну да, надсотник Верещагин!

Человек в серо-зелёном обернулся. Смерил улыбающегося мужчину в кепи немного недовольным взглядом, потом кивнул:

— Да, я Верещагин. Простите?..

— Не помните?! — тот рассмеялся. — Ну?! Вы встречали мою бригаду во время зимнего прорыва! Ну?!.

— Комбриг Ларионов?! — выпрямился Верещагин. — Чёрт побери! Комбриг Ларионов!

— Генерал-майор в отставке Ларионов, — важно поправил тот, подходя и протягивая руку. Верещагин вытянулся, накрыл одной ладонью седую голову, второй отдал честь. Потом отпихнул ладонь Ларионова — и они обнялись.

— Вообще-то и я не надсотник, — поправил Верещагин, отстраняясь. — В конце войны я был уже полковником. 8-й егерский. Финал — в Душман-бээээ.

— Да шут с ним, — Ларионов достал пачку сигарет — моршанскую «Победу». — Кури.

— Да не курю я, — покачал головой Верещагин.

— А зажигалка... — начал Ларионов и хлопнул себя по лбу. — А, да! Ты её всегда с собой таскал...

Оба рассмеялись.

— Надо же, мы два года не виделись, — Ларионов покачал головой. — Два года, ёлочки зелёные... Я-то закончил аж за Любляной, на итальянской границе...

— Да шут с ним, — повторил его слова Верещагин. — Слушай, а это вон там не тебе машут?

— Вот чёрт! — Ларионов замахал рукой группе людей, стоящих на обочине шоссе неподалёку — женщина, молодой парень, девушка, мальчишка и девчонка. — Сюда, скорее, ну?!.

— Это твои? — Верещагин выпрямился. — Проклятье, Серёжка! Даже отсюда узнаю — Серёжка, повзрослел как, паразит!

— Да... Ему шестнадцать, дочке, Катьке, четырнадцать... А старшему двадцать, недавно вернулся из армии... Хотя знаешь... было время, когда я думал, что у меня никого не осталось. Никого, понимаешь? — Ларионов посерьёзnel. Верещагин спросил:

— Погоди, а какой старший, у тебя вроде Серёжка и был старшим?

— Да понимаешь... — начал Ларионов.

Но Верещагин не слушал.

Высокий белокурый атлет, державший под руку стройную девушку, едва доходившую ему до плеча, вдруг сбил шаг и замер. Глаза девушки тоже расширились. Она отчётливо сказала:

— Не может быть...

— Что случилось-то, Светлана? — Ларионов-старший непонимающе смотрел вокруг. Но Верещагин вдруг шагнул вперёд и каркнул:

— Юрка?! Юрка Климов?! — а потом в три шага оказался рядом с парнем и положил руки ему на плечи: — Юрка, ты...

— Ничего не понимаю, вы, что, знакомы?! — растерянно спросил в спину Ларионов, успокаивающе махнув жене.

— Олег... Николаевич?! — в два приёма выдохнул парень. — Вы... а это вот... — он неловко мотнулся в сторону девушки, — это моя невеста.

— Не узнали? — кокетливо спросила та. — Юр, он меня не узнал.

— Светка?! — снова ахнул Верещагин. — Любшина, Света?! Чёрт, и ты жива?! Вас же в Кирсанове в Книгу Памяти... большими буквами... Живые, оба!!! — он сгрёб смеющихся молодых людей за плечи и прижал к себе.

— А меня не обнимете? — весело спросил тоже рослый, хотя и худенький парнишка лет 15–16, русый, с дерзкими серыми глазами. — Хотя вы меня и видели-то пару раз...

— Тебя-то я сразу узнал, разведка! — весело выкрикнул Верещагин, подгребая и его — смеющегося — к себе. — Верста, а тощий... уххх, Серёжка!!!

— А у тебя? — спросил Ларионов, подождав, пока Верещагин отцепится от его семьи — не раньше, чем тот поцеловал руки улыбающейся женщине и довольно нахально выглядевшей девчонке. — Всё один?

Верещагин хотел что-то сказать, но явно передумал и, глядя за плечо Ларионова, с улыбкой покачал головой:

— А вот и не один. Вон они, мои — идут. Я их тут ждал.

По набережной шла высокая женщина, катившая перед собой двойной велосипед (ещё довоенной «постройки») — но на нём восседала одна единица ребёнка. Вторая — копия первой — величаво плыла на плечах парнишки лет шестнадцати. Все четверо издали замахали поднявшему руку Верещагину. А тот, не опуская её, пояснил:

— Мальчишкам по два, близняшки — Владислав и Ярослав. Старшему, Димке, тоже шестнадцать, как вашему среднему... — он подмигнул Серёжке. — И он тоже приёмный. Есть ещё один приёмыш, кстати — и, кстати, тоже Владька, хотя он Владимир — но он сейчас в армии... Эй! Давайте сюда, начинаем дружить семьями!

* * *

Шествие получилось внушительным.

Впереди, как и положено, шли главы семейств, ведя неспешную беседу о политике и военном деле. Краем уха Верещагин слышал, как идущие следом Серёжка и Димка переговариваются — коротко, скрывая обычное для их возраста смущение первого знакомства — шестнадцатилетние ветераны...: «— Ты тут воевал? — Тут и в лесах... — А я сперва в пионерах был, потом в дружине у Олега... Ты не тот Серёжка, который „Вихрь“? — Ну, я... — Здорово... — Да ладно... — Сестра у тебя симпатичная... — Катька, что ли?! Да ну!.. — Нет, правда...»

Женщины шли следом. Катька охотно везла велосипед с близнецами, задавая им нелепые и оскорбительные вопросы типа: «А в кого у нас такие глазки?.. А кто нам такую курточку купил?.. Ой, какие у нас зубики!..» Владислав и Ярослав гордо молчали — в их двухлетних душах уже давно подспудно вызревало убеждение, что «все бабы — низший сорт!», а мир принадлежит мужчинам, пусть ещё и не взрослым. Елена и Светлана тоже, как и мужья, вели негромкий разговор, но на куда более мирные темы. Юрка и Светка-младшая замыкали процессию, но явно не считали себя обойдёнными вниманием — им вполне хватало своей компании.

А город вокруг готовился к празднику. Всё больше и больше встречалось людей — нарядно одетых, поодиночке, парами, компаниями. То тут, то там слышалась музыка и

обрывки речей и лозунгов из репродукторов. В небе — высоко, от этого медленно — плыл дирижабль, раскрашенный в чёрно-жёлто-белую гамму, оставлявший позади двойной «хвост» тех же цветов. По шоссе прошёл плотно сбитый квадрат дроздовцев — в угрюмой чёрной форме, в ярких беретах, над плечами сверкали штыки, впереди тяжело качалось зачехлённое знамя. Люди останавливались, махали руками, многие отдавали честь. Дроздовцы вдруг грянули — под сухую дробь палочек в белых перчатках трёх мальчишек-барабанщиков, шедших перед знаменем:

— Черным строем маршируя, Вновь дроздовцы в бой идут — Защитить страну родную
От предателей-иуд.

От Кремля до Магадана, От Камчатки до Днепра — Всем, кто набивал карманы,
Отвечать пришла пора.

Вновь дроздовские отряды Сотрясают маршем твердь. Будет нам одна отрада — Всех
врагов России смерть!

Мы идем — нам Солнце внемлет, Русь святая — Божий дом. Мы очистим наши земли,
Разоренные врагом...⁶

Ушла песня — вместе со строем. Мимо стоящих Ларионовых и Верещагиных прошёл молодой мужчина — на глазах слёзы, голова высоко поднята, левая рука — в чёрной перчатке...

— Да... — вздохнул Верещагин. — А где сейчас Кологривов?

— Погиб Кологривов, — тихо ответил Ларионов. — Он после челюстно-лицевого вернулся в полк... добился, хотя говорить почти не мог. В Клайпеде его снайперша убила. Вот так...

* * *

На парапете сидел молодой парень с гитарой; вокруг стояли ещё с десятков парней и девочек — и в гражданском, и в кадетской форме.

Верещагин и Ларионов шли одни. Остальные рассосались — сперва исчезли Юрка со Светкой, потом — старшие мальчишки, объявившие, что пойдут на стадион и вернутся только на парад и концерт, потом — женщины с младшими, вообще никак не мотивировавшие своё исчезновение. Впрочем, бывшие офицеры и не были особо против.

— Пашка, спой про графа, — попросила рыжая девчонка в форме пионервожатой. Парень с гитарой, кивнув, перебрал струны, ударил по ним...

— Все начиналось просто:

Граф опустил ладони на карту —

Реками стали вены,

Впали вены в моря,

В кузнице пахло небом,

Искорки бились в кожаный фартук,

Ехал Пятьсот Веселый

Поперек сентября...

Девочка, зря ты плачешь — здесь, в сентябре, без этого сыро,

Там, куда Граф твой едет, вовсе уж ни к чему.

Счастье из мыльных опер — жалкий эрзац для третьего мира,

Только Пятьсот Веселый нынче нужен ему...

Слушали молча, покачивая головами. А парень пел. Глядя в небо и чему-то улыбаясь:

⁶ Слова М. Кузнецова

— Ветер метет перроны, поезд отходит через минуту,
Точно по расписанию — х... ли ж им, поездам.
В грустный мотив разлуки что-то еще вплетается, будто
Пуля в аккордеоне катится по ладам.
И вот ты одна под крышей, свечи сгорели, сердце разбито,
Что-то уж больно долго Граф тебе не звонит.
Только Пятьсот Веселый, шаткий от контрабандного спирта,
Знает к нему дорогу — этим и знаменит.
На рубеже столетий всё в ожидании, чет или нечет,
И Граф твой не хуже прочих знает, как грань тонка,
Что-то ему обломно — водка не в кайф, и бабы не лечат -
Мечется волком в клетке, ждет твоего звонка.
Верь в то, что всё, как надо, нынче судьба к нему
благосклонна,
Нынче портянки в клетку, устрицы на обед,
Под акварельным небом, сидя на палубе бателона,
Пьет золотое пиво, думает о тебе.
Девочка, ждать готовься — вряд ли разлука кончится скоро,
Вряд ли отпустит Графа певчий гравий дорог,
Ты открываешь карту, и вслед за беспечной птичкой курсора
Шаткий Пятьсот Веселый движется поперек.
Ты не кляни разлуку — мир без разлуки неинтересен,
Брось отмечать недели, вытри слезы и жди,
Верь в то, что ваша встреча — сказка всех сказок, песня всех
песен,
Новый мотив разлуки — все еще впереди.
Хоп!⁷

— Бессонов, Пашка! — окликнул Верещагин. Гитарист опустил голову и улыбнулся, соскакивая с папета:

— Олег Николаевич, вы тоже приехали, здравствуйте!

— Здравствуй, Пашка, — кивнул Верещагин. — Здравствуй.

* * *

— А где другой Пашка? — Ларионов снова закурил, опираясь спиной на ограждение.

— А, вестовой мой... — Верещагин улыбнулся. — А ты хочешь верь, хочешь нет — он занялся политикой. В армии служить не стал, а добился того, что его выбрали городским головой. В девятнадцать лет!

— Иди ты! — вырвалось у Ларионова по-мальчишески. — У вас в Кирсанове?!

— Я и говорю. Как метлой город вымел. Чисто. Тихо. Порядок. И на службу пешком ходит, а своё законное авто детскому саду отдал.

По набережной всё чаще и чаще двигались колонны — пионеры, кадеты, военные, просто люди под флагами, с портретами и лозунгами. Слышался непрерывный шум, почти перекрывавший репродукторы.

— Вообще-то нам повезло, — задумчиво сказал Верещагин.

— В чём? — поинтересовался Ларионов, глядя, как к берегу интенсивно гребёт стая уток.

⁷ Слова О. Медведева.

— В том, что всё так сложилось, — бывший офицер оперся спиной о парапет. — Смотри сам: до сих пор весь мир кипит.

— Это да, — согласился Ларионов.

Это было правдой. В расколовшихся на два десятка кусков США шла бесконечная гражданская война между дюжиной негосударственных организаций (судя по всему, через пять-шесть лет победа должна была достаться Гражданской Гвардии и Бьюкенену; в перспективе они могли даже восстановить целостность страны. Но эти люди явно не испытывали желания вмешиваться в дела других стран, заранее объявив, что США станут заниматься внутренним развитием, как завещали предки...) Ещё недавно могучий Китай рассыпался на глазах, потеряв за последний год три четверти населения в основном от забушевавших внезапно эпидемий. Индо-иранский и пакистано-саудовский альянсы, поддержанные расколовшимся от Японии до Алжира мусульманско-восточным миром, нанеся друг по другу около сорока ядерных ударов, сейчас занимались классическим самоистреблением при помощи холодного оружия и старых «Калашниковых». Африка южнее Чада, окончательно охваченная дичайшим трайбализмом, вымирала от многочисленных пандемий, людоедства и непрекращающихся племенных войн (исключением была, пожалуй, ЮАР, где буры, деловито и беспощадно перебив практически всё «чёрное и цветное» население, выставили на границах прочные кордоны.) Относительно спокойно дела обстояли в Южной Америке, но правившие там «угоисты» к России относили традиционно дружелюбно, да и были прочно заняты обустройством своего континента (и внутренними разборками — тоже...). Остатки беженцев из Израиля тыкались то туда, то сюда, но, судя по всему, никому нужны не были и в данный момент кочевали чудовищным табором где-то по Мавритании... Ну а хитрая «старушка» Европа, почти не пострадавшая от войны, как в «старые добрые времена», полностью зависела от русских нефти и газа и вообще не считала, что за последние годы произошло что-то страшное. Скорее наоборот — лидеры пришедших в большинстве европейских стран к власти партий и организаций, объединённых под общим условным названием «Национальный Фронт», в немалой степени были России благодарны за избавление от американского прессинга и возможность выселить из своих чистеньких стран-домов сильно, надо сказать, пакостившее там «заезженатурализованное» население. Благодарность была настолько большой, что Европа ни словом не заикнулась о протесте в связи с восстановлением СССР — Союза Социалистических Славянских Республик, включившего в себя не только территорию СССР-91, но и Югославию с Болгарией и Словакией. Недовольны были разве что успевшие вкушать НАТОвских прелестей «восточные западники», потерявшие в войне огромное количество людей и средств и почти на этом разорившиеся — Польша, Венгрия, Чехия, Румыния... Впрочем, их мнение, как обычно, никого не интересовало в принципе.

Короче говоря, России очень и очень повезло. Нельзя было не понимать, что даже сейчас — сыщись в мире достаточно мощная сила — и огромная территория СССР, населённая поредевшим населением, со здорово разрушенной инфраструктурой, с трудом восстанавливающаяся — стала бы её добычей.

Но судьба как всегда пощадила Россию за мужество её народа.

— За прошлый год — три миллиона чистого прироста населения, — сказал Ларионов.

Верещагин хмыкнул:

— Общая цифра?

— Цифра прироста русского народа, — ответил Ларионов с улыбкой. — Вообще ещё больше.

— Ты там, в кругах, вращаешься, — лениво начал Верещагин, — а сколько всего сейчас людей в СССР? Или не знаешь?

— Да ради бога, — так же лениво сказал Ларионов (в глазах плясали бесенята). — Всего славян — сто пятьдесят два с половиной миллиона. Русских 137 миллионов, из них — 97 миллионов великороссов, 32 миллиона украинцев, 8 миллионов белорусов. Ещё пятнадцать с половиной миллионов югославов — 9 миллионов сербов, 4,5 миллиона

хорватов, полмиллиона черногорцев, полтора миллиона македонцев. Плюс 8 миллионов болгар, 5,5 миллионов словаков. И неславянских народностей — 47 миллионов. В СССР живут итого примерно 200 миллионов человек. Второе место в мире после того, что сейчас называется Китаем. Если у них там пойдёт так дальше — скоро будем на первом.

— Силё-он... — протянул Верещагин. — Наизусть шпаришь! — и добавил уже печально. — Половина. Ополовинили славян...

— Чернуха, но не так уж страшно, — возразил Ларионов неожиданно жёстко. Две трети погибших — население мегаполисов. А среди северян, казаков и сибиряков уцелело большинство. Генофонд цел. Кстати, и на планете попросторней стало.

— Насколько? — с непонятной интонацией уточнил Верещагин.

— На три миллиарда, — с такой же интонацией ответил Ларионов. — За пять лет — вовсе неплохо... Правда, через пару лет ожидаем пандемию чумы на всём юге. Но учёные говорят, что теперь справимся легко. Через границы не пустим.

— А ты вообще где? — спохватился Верещагин. — В отставке, это понятно. А так?

— А так — я глава комиссии по реституции, — сказал Ларионов. И, увидев недоумённый взгляд Верещагина, пояснил с улыбкой: — Да нет. это не разные там склянки-картинки делить. Это возвращение нашей главной ценности — русских детей.

— Ещё не все?.. — Верещагин помрачнел.

— Не все, — кивнул Ларионов. — Кто просто не может выехать. Кого не выпускают. А кто уже и забыл, что русский... Я ведь всего три дня назад был на пропускнике в Уэллене... Бррр! — он передёрнулся. — Из Аляски толпы ломаются... «бывжиг». Сперва от нас удрали в Штаты, а теперь оттуда бегут сюда. На Аляске-то относительный порядок, вот они туда и ползут. Жуть. С детьми, вопят, деньги тычут... — лицо Ларионова стало недоброе. — Ну, я тишину установил, — он показал, как стреляют в потолок, — и говорю: «Никого из взрослых я не пущу. Вы курвы — так и сказал — курвами и останетесь. Родину бросили, когда было плохо. И Америку так же бросаете. Проходить будут только дети до шестнадцати.» Так что ты думаешь? Две трети просто повернулись, детей бросили и обратно ломанулись. Я потом расспрашивал — это в основном и не их дети были, откуда у их б...дей дети? В детдомах, в клиниках русских детишек покупали — там же сейчас жуть что творится, власти никакой — и за своих выдавали — на жалость бить собирались. А как увидели, что их так и так не пустят — дёрнули обратно...

— И не пустил? — спросил Верещагин.

— Не пустил, — жёстко ответил Ларионов. — Кто предал раз — предаст и два. Детей собрали и увезли. А эти пусть подышают в Америке. Тем более, что американцам они тоже не нужны. Мне майор-штатовец с КПП сказал, что даже обратно в Уэллс, в город их не выпустит, пусть в пропускнике хотьдохнут, хоть вешаются. Мол, Америке нужны матери и солдаты, а не шлюхи обоёго пола. А какие знаменитые рожи я там видел! — Ларионов подмигнул. — Сатирики-юмористы, певички-актриски, исследователи-последователи... Аж душа запела!

— Смотри, мы почти до Чернавского моста дошли, — кивнул Верещагин. — А это там что? Памятник?

— Памятник, — тихо ответил Ларионов. — Пошли. Посмотришь.

* * *

— Здравствуй, Димка, — тихо сказал Верещагин. Так тихо, что не слышали, кажется, даже стоявшие по обе стороны от небольшой кирпичной пирамидки пионеры почётногo караула. А ветер с водохранилища, рвавший, словно языки пламени — казалось, что горит всё вокруг — тысячи пионерских галстуков на металлических распорках, похожих на дуги колючей проволоки — и вовсе сделал слова неслышными.

На фоне изогнувшегося гигантским полукольцом Мемориала, его полированного чёрного камня, белокаменных фигур в вечном карауле памятник Димке Медведеву казался

особенно крохотным. Но... но странно. Пирамидка не терялась, не казалась жалкой. Возникало странное ощущение. Как будто гигантские сильные руки — Мемориал — с обеих сторон обнимают младшего товарища, стремясь защитить того, кто вышел вперёд, кто уже шагнул навстречу врагу...

— Здравствуй, Димка, — повторил Верещагин.

— Вот так, — сказал, подходя следом Ларионов.

— Иногда я думаю... — спокойным, но странным голосом сказал Верещагин. — Иногда я думаю — если бы не он — мы бы не победили. Я знаю, что это смешно, но я так думаю иногда. Что с него всё и началось.

— Кто знает? — задумчиво ответил Ларионов.

— У меня был друг, — сказал Верещагин. — Офицер моей дружины, Игорь Басаргин... Вот мы с ним как-то — за неделю, что ли, до того, как я с Димкой познакомился — сидели и говорили. Я его спросил — не пробовал ли он молиться. А он помолчал и вдруг говорит зло: «Бог не поможет сволочам, которые продали свою страну!» Как ударил, я даже отшатнулся... А теперь думаю ещё... — Верещагин усмехнулся. — Может быть, бог всё-таки есть. И он нас всех пожалел ради одного мальчишки, у которого было большое и чистое сердце. Понимаешь, не ради наших танков и наших автоматов, не ради лозунгов и дружин РНВ. Просто ради мальчишки, который оставался мужественным до конца.

— Кто знает? — серьёзно повторил Ларионов. — Знаешь, сколько было споров? Строить или нет... Людям жить негде... А Ромашов тогда сказал: «Без жилья люди выживут. А без памяти они так — стадо...»

* * *

Если честно, парад Верещагин не очень запомнил, хотя близнецы на его плечах выражали свой восторг весьма бурно. Только когда в самом конце пошли БМСы — боевые машины сопровождения, заменившие в новой армии архаичные танки и самоходки — и грянул марш:

— Не надо нас пугать — бахвалиться спесиво!
Не стоит нам грозить и вновь с огнём играть!
А если враг рискнёт проверить нашу силу —
Его мы навсегда отучим проверять!

Верещагин словно бы очнулся. И увидел, что за «оборотнями» и «рысями» начинают выходить пионерские отряды.

— Первый пионерские отряд города Воронежа — отряд имени Дмитрия Самойлова! — говорил диктор. — Созданный почти в самом начале блокады, этот отряд...

— Знаю. Всё знаю, — прошептал Верещагин, ссаживая бурно запротестовавших мальчишек на руки матери и явно к ним привязавшейся Катке. Ему внезапно очень захотелось остаться одному — и он начал потихоньку выбираться из толпы. Ларионов спросил, оглядываясь:

— Куда собрался-то?

— Прогуляюсь, — ответил Верещагин через плечо. — Я сейчас.

* * *

Спустившийся на Воронеж летний вечер был тёплым и тихим — тихим, так сказать, от природы, потому что праздник не утихал, переместившись с центральных улиц на концертные площадки, в Дома Культуры и просто в квартиры. Уложив младших — с ними изъявили готовность остаться Юрка со Светкой — в доме Ларионовых (Ларионов-старший как бы автоматически считал, что Верещагины останутся у него, начисто забыв, что дом

Елены целёхонек), остальные отправились в город, но Серёжка с Димкой опять тихо «слиняли», на этот раз прихватив с собой и Катю. А двое мужчин и две женщины оказались около всё того же Мемориала, где уже была возведена большая временная эстрада и собрались тысячи людей.

Эстрада была не освещена. Но потом вдруг откуда-то сверху ударил поток необычайно тёплого, золотистого света, выхватившего из темноты фигуру очень красивой девушки в легком платье, с пышной, небрежно уложенной копной волос искристого, металлического цвета. Шагнув к краю эстрады, девушка подняла руку свободным жестом и звонко, громко отчеканила...

— Вечная
Слава
Героям!
Вечная слава!
Вечная слава!
Вечная
Слава
Героям!
Слава героям!
Слава!!!

...Что-то шевельнулось в темноте — с левого края эстрады. Все скорей угадали, чем увидел — чёрный сгусток, имевший форму человеческого силуэта. Странно холодный, безликий, но сильный голос прозвучал из тьмы:

— Но зачем она им, эта слава — мёртвым?
Для чего она им, эта слава, — павшим?
Всё живое — спасшим.
Себя — не спасшим.
Для чего она им, эта слава, — мёртвым?..

Если молнии в тучах заплещутся жарко и огромное небо от грома оглохнет, если крикнут все люди земного шара, — ни один из погибших даже не вздрогнет.

Знаю: солнце в пустые глазницы не брызнет.
Знаю: слава тяжёлых могил не откроет...

...Резкий взмах во тьме — словно махнуло чёрное крыло. И девушка, ломаясь в поясе, упала на колени и спрятала в ладонях лицо. Круг золотистого тёплого света начал сужаться, тускнеть...

Но вдруг — тьму полоснула золотая дорога! Раздались чёткие, уверенные шаги. Чернота брызнула в разные стороны, и человек в форме РНВ, подойдя, поднял с колен и обнял девушку, с надеждой повернувшую к нему лицо — и в тишину упали слова сильного юного голоса, в котором звенел металл:

— ...Но от имени сердца,
От имени жизни повторяю:
Вечная!
Слава!
Героям!

И голос девушки вновь зазвучал:

— И бессмертные гимны, прощальные гимны над бессонной
Россией плывут величаво...
Пусть не все герои, — те, кто погибли, — павшим
Вечная слава!
Вечная слава!..

...Свет погас совсем. В темноте прозвучал звук колокола — размеренный и странный.
Потом мужской голос, похожий на голос диктора ради военного времени, отчеканил:

— Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим...
Это нужно — не мёртвым!
Это надо — живым!
Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе...
Есть великое право: забывать о себе!
Есть высокое право: пожелать и посметь!..
Стала
Вечною Славой мгновенная смерть!

Колокол умолк. Зажглись круги холодного голубоватого света. В них стояли люди в разной форме — чэзэбэшники, регулярные военные старой армии, ополченцы, интернационалисты, казаки... Молодые мужчины и женщины, юноши и девушки. Мальчишки и девчонки... Но форма лишь просвечивала сквозь накидки, похожие на саваны, и головы стоящих были опущены.

Потом они разом подняли лица. Губы их не шевелились — но один за другим начинали звучать горькие, недоумённые голоса — казалось, над эстрадой, сталкиваясь, бьются людские мысли...

— Разве погибнуть ты нам завещала,
Родина?! —

горько спрашивал молодой мужчина.

— Жизнь обещала, любовь обещала,
Родина... —

тихо сказал девичий голос.

— Разве для смерти рождаются дети,
Родина?! —

звоном взорвался крик мальчишки.

— Разве хотела ты нашей смерти,
Родина? —

хрипловато произнёс ещё кто-то.

...Страшный грохот заставил всех вздрогнуть. Голубоватый свет погас; его сменило сплошное кровавое свечение, и на заднем плане всплыли зубчатые руины города. Верещагин почувствовал, как по коже побежал мороз, на миг он подумал: боги, неужели всё заново?! Елена сжала руку мужа.

Саваны полетели прочь. И зазвучали уже живые, настоящие голоса...

— Помнишь — ударило пламя в небо слепое,
Родина?! —

спросил почти яростно парень.

— Тихо сказала:
«Вставайте на помощь...», —
Родина! —

почти прошептала девушка.

— Славы никто у тебя не выпрашивал,
Родина! —

запальчиво и гордо сказал мальчишка.

— Просто был выбор у каждого: я или
Родина?.. —

спокойно и уверенно подытожил немолодой мужчина.

Золотые, серебряные и голубые лучи побежали по развалинам, стирая их вместе с тьмой и алым светом. Вновь появились девушка и тот парень, и они читали попеременно:

— Самое лучшее и дорогое —
Родина!
— Горе твоё — это наше горе,
Родина!
— Правда твоя — это наша правда,
Родина!
— Слава твоя — это наша слава,
Родина!

Тишина лопнула и разлетелась в куски. Каждый в огромной толпе принял всё сказанное, как обращение лично к себе.

— Старые стихи... — сказал Верещагин, когда шум вокруг утих — словно волны откатились обратно в море. — Кажется, Роберта Рождественского.

— Ничего. Напишут ещё новые — и о нас. Уже пишут.

— Да... Мне знаешь что жаль только?

— Что?

— Что люди забудут о Великой Отечественной... Я даже чувствую себя виноватым... перед ветеранами...

Ларионов-старший не ответил. На сцене уже разыгрывалась постановка, посвящённая славянским странам, вошедшим в СССР. На фоне белорусского флага кряжистый усатый мужик пел под гитару — а сбоку от него мелькали кадры хроники времён войны — защита Минска, пограничное сражение, взятие Люблина...

— На русском поле «Беларусь» Пахал и пил взхлеб соляру, Давал на сенокосах жару... Но в бак ему залили грусть. Потом в застенках гаража На скатах спущенных держали. Скребла его когтями ржа. И под капотом кони ржали. И сотни лошадиных сил Рвались на русские просторы. Он слышал дальние моторы И каплю топлива просил. Без плуга корчилась земля. Без урожая чахла пашня. Двуглавый герб-мутант на башнях Венчал двуличие Кремля.

И, окружив славянский дом, Пылили натовские танки. Глобальной газовой атакой На Минск надвинулся «Бушпром». И встал мужик не с той ноги, Ко всем чертям отбросил стопку, Заправил «Беларусь» под пробку. К рулю качнулись рычаги. Советский гимн запел движок (Его другому не учили), И, повернув колеса чинно, Он небо выхлопом обжег. И через ноздри клапанов Втянув убитой пашни запах, Он, вздыбившись, повел на Запад Ряды железных табунов. И понеслись в последний бой Все «Беларуси» — белоруссы.

На подвиг малые колеса Вели большие за собой. И странно было всей Руси, Великой некогда и смелой, Вставать за малой Русью — Белой И верить: Господи, спаси! И через поле, через мать... Опять сошлись надежды в Бресте, Где сроду с Беларусью вместе России славу добывать. И честью пахаря клянусь, Что, на бинты порвав портянки, Тараном в натовские танки Влетит горящий «Беларусь».

Люди зашумели.

— Лука-а-а-а!!! — орал кто-то одурело. — Батько-о-о-о!!!

Верещагин сказал:

— А что ни говори, а воевали мы его оружием. По крайней мере — вначале. Жаль, что не его избрали Вождём.

— Говорят, он сам отказался, — ответил Ларионов. — Смотри, Боже Васоевич. Сам приехал.

Юный глава югославской Скупщины, смущённо улыбаясь, поднятой рукой пытался успокоить людское ликование.

— Я буду говорить по-русски, — сказал он. — В конце концов, это заслуга русских — что есть моя страна, что у меня, в конце концов, целы ноги. Здравствуйте, братья...

* * *

Где-то уже шумела стройка.

По предрассветной почти пустой улице ветер гнал клочок бумаги.

От водохранилища тянуло речной водой.

Сидя на скамейке, Верещагин слушал Пашку Бессонова.

— Ты знаешь — мне приснился странный сон.
Смешной и страшный, путаный и длинный...
Как будто я был вылеплен из глины
И с жизнью человеческой разлучён...
Как будто я нездешний, неземной,
И будто крови нет во мне ни грамма,
И будто кто-то гонится за мной,
И будто нет тебя на свете, мама...
Как будто бы чужую чью-то роль,
Заставили играть в чужой квартире,
А из всего, что было в этом мире,
Остались одиночество и боль...
И я не знал, где мне тебя искать...
Но я искал, слезу сглотнув упрямо...
Не страшно даже камню кровь отдать,
Чтоб только ты ко мне вернулась, мама...
И не пойму — во сне иль наяву
Мне на плечи твоя рука ложится.
Взаправдашние утренние птицы
Вдруг радостно рванулись в синеву...⁸

— певец прихлопнул струны исцарапанной ладонью, покрытой ещё не сошедшим с лета загаром и тихо сказал, ни на кого не глядя:

— Не бойся. Это сон. Это неправда...

— Пашка, — спросил Верещагин, — скажи мне ты. Всё то, что мы потеряли. Все те, кто погиб. Это было не зря?

— Димка верил, что не зря, — Пашка встал. — А значит — не зря, Олег Николаевич... Ну, я пойду. Хоть пару часов посплю. Вы заходите в отряд, он там же, только не в подвале, конечно.

— Зайду, — сказал Верещагин и, откинувшись на спинку скамьи, закрыл глаза.

* * *

А теперь я хочу обратиться к своим читателям. Я получил немало откликов (фу, какой казённый стиль...), где мне предлагалось превратить этот цикл рассказов в роман. Делать этого я не хочу. Не потому, что не могу, а потому, что — не хочу, и всё. Но я отдаю эту тему и её героев всем, кому пришлось по душе мои рассказы. Почти три года войны, в течении которой я описал лишь два десятка дней из первых восьми месяцев — это благодатный и обширный материал. Условие лишь одно: происходящее должно соответствовать концовке — вот этому рассказу. А так — если у кого-то вдруг появится желание — я ничего не буду иметь против. Если же ни у кого такого желания не появится — я тоже не обижусь. Мне вполне достаточно того, что эти рассказы читали...

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!

Стихи Дмитрия Ляляева

Вот и Лондон подорвали. Доигрались в Тамерланов,
Отрыгнулись пирамиды человеческих костей.
Мафиозные разборки превращают вас в баранов,
Ставших минною добычей для непрошенных гостей.
Пустозвонных манифестов лицемерие обрыдло,
Кровь невинных не замоешь рвотной патокой речей.
Вы Россию растоптали. Вы считали нас за быдло
И, сочтя себя богами, превратились в палачей.
Ну и кто теперь поможет? Кто удержит злые орды,
Кто щитом меж рас враждебных вас укроет от беды?
Вы — хозяева планеты, вы напыщенны и горды,
И лихих своих деяний пожинаете плоды.
Что ж, воюй, надменный Запад! Позабудь свою нирвану,
Средь музейных экспонатов отыщи свою пищаль
И в пустыне раскалённой вспомни русского Ивана,
Что с казённым автоматом твою шкуру защищал.
От фашистского Берлина до душманского Герата,
В просолённой гимнастёрке, с сухарями в вещмешке.
Призрак бродит по Европе. Призрак русского солдата
Со спасённой юной немкой в обнимающей руке.
